

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Златовратский Н. Н. Деревенский король Лир: Повести, рассказы, очерки
//Современник, М.:, 1988
FB2: Miledi, 2011-06-29, version 1.0
UUID: cd0447e4-a16b-11e0-9959-47117d41cf4b
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Златовратский

Золотые сердца

Повесть «Золотые сердца» посвящена радикально настроенной молодёжи.

Содержание

Глава первая Морозов	0005
I	0005
II	0022
III	0030
Глава вторая Башкиров	0059
I	0059
II	0069
Глава третья Обитатели Майорской колонии	0086
Глава четвертая История покаяния	0111
Глава пятая Вера сердца	0148
Глава шестая Назамужницы	0182
Глава седьмая Среди добрых знакомых	0238
Глава восьмая Странные люди	0284
I	0284
II	0298
III	0311
IV	0328
Глава девятая Накануне	0345
Об авторе	0370

**Николай Николаевич
Златовратский
Золотые сердца**

Глава первая

Морозов

I

Как теперь вижу эту оригинальную, высокую, сутуловатую фигуру в смешном длинном сюртуке, застегнутом под самое горло на одну верхнюю пуговицу и затем на одну внизу, это умное, сердито-доброе, но вечно угрюмое лицо, обросшее черною бородой, которую нервно и безжалостно трепал он левою рукой в то время, когда правая непрерывно ерзала в образовавшуюся между незастегнутыми бортами сюртука пазуху, как будто он всегда искал чего-нибудь в боковом кармане.

Я сидел на завалине около житницы, в далекой деревеньке одной из великороссийских палестин, и тянул из крынки парное молоко. Он порывисто ошагивал, как часовой, мимо меня пространство в три сажени, сердито смотря в землю и изредка окидывая взор окрестную местность: «зады» крестьянских дворов, смотревших на нас разваливши-

мися гумнами, поля с тощим хлебом, плохой лешишко, раскинувшийся беспорядочно сбоку вперемежку с кустарником и перелогом[1]. Мой собеседник негодовал, но у меня, – не знаю почему, – не сходила с губ самая добродушная улыбка, каждый раз, когда я встречал на себе его негодующий взор. Его доброе лицо, к несчастью, никак не укладывалось в мину негодования, и из этого выходило нечто милое и смешное. Я хорошо знал его, и для меня не мог скраться его недостаток – неумение, при всем желании, лицемерить и владеть личными мускулами настолько, чтобы можно было скрыть природное добродушие. Он, казалось, знал это и часто сердился на свое лицо. «Черт знает, – говорил он, – что за рожа такая холуйская!.. Увидит станового – и тотчас же изобразит: милости просим закусь!» Поэтому никакое начальство не было на него в претензии, как он ни силился изобразить из себя беспокойного человека.

Он был действительно прекрасной души человек и оригинал. Ему лет под тридцать пять. В его боковом кармане (к которому он, по случайной привычке, так часто отправлял

на ревизию свою правую руку) лежало пять дипломов, выданных на разные ученые степени из разных высших учебных заведений. Он переключивался из одного в другое десять лет: кончив курс в Московском университете по юридическому факультету, перешел на второй курс математического факультета Петербургского университета; кончив здесь, перешел на третий курс Земледельческого института, отсюда на третий курс Технологического института и уже здесь закончил свою студенческую карьеру, набив карман разными дипломами, как паспортами на свободный проезд по всевозможным карьерам. Этому помогли, конечно, его замечательный ум, бесподобная память и неимоверная энергия, с которой он переносил все невзгоды необеспеченной жизни. Он был сын мелкого конторщика на фабрике, совершенно случайно попавший в «приватные» ученики к одному экс-студенту, который выучил его грамоте. Этот же студент остался для него какой-то святыней на всю жизнь, хотя он его уже не встречал более по окончании своей учебной карьеры. Он говорил, что это был «великий

ум, высокая душа», что он, Морозов, «недостойн развязать ремень» и пр. Запасшись столькими учеными дипломами, он тем не менее не придавал им никакого значения. «Все это было приобретено, – говорил он, – не более как ввиду кормления. Вышел я из университета, потолкался было в адвокатах, только что расцветавших тогда, да не показалось. Пошел в лесной институт, в расчете на стипендию; получил, кончил, поехал на завод: думал, по глупости, нечто совершить, да кончил тем, что женился на помещице, бросил место и уехал опять в Питер, на стипендию в технологический, ибо с женою было жить нечем. Мы с ней без позволения сошлись, так тятенька, осердившись, ничего ей не дал. Вот таким манером ради кормления и нахватал бумажонок...» После этого он странствовал по разным местам, был опять юристом, техником, лесничим, даже учителем, но нигде не усидел больше года. Измучил этими переходами себя, расстроил нервы жене и дошел до того, что не нашел ни чего лучше, как сделаться самостоятельным и независимым рабочим-механиком, в компании с двумя прия-

телями, уже пытавшимися изготавливать свои швейные машины. Но в это время умер у него тесть, и жена увезла его насильно в доставшееся ей по наследству имение. Его деятельность и виды приняли на некоторое время другое направление: он задумал устроить образцовое заведение сельского хозяйства, применительно к экономическим средствам среднего крестьянского хозяйства. Сзывал к себе мужиков-хозяев, поил их водкой, показывал им плодопеременные системы, опыты возращения леса и кукурузы, великолепную рожь, родившуюся у него... Мужики от всего этого ахали, приходили в восторг и говорили, что его, должно быть, бог возлюбил – потому ему и счастье...

– Врете вы! – кричал он. – Почему же у вас нет:

– Мы, должно, господа прогневили...

– Врете вы... Смотрите: вот и вот почему; делайте так... И пр.

Мужики стояли на своем и показывали на облака, «с которыми, брат, тоже пива не сварить!.. Вон его, батюшку, кто ведает – куда несет: может, оно с градом, а может, и нет; мо-

жет, с дождем, а может, и с засухой... Ты вот на это как скажешь?..»

Он опять ругался, кричал, выходил из себя, а мужики, выпив водки, уходили домой, может быть, кое-что, впрочем, и унеся с собою из умственной пищи.

Однако он был недоволен, хотя жена не находилась на образцовое хозяйство. Он заперся в кабинете и долго корреспондировал оттуда в газеты и журналы. Но, как человек живой, не вытерпел, стал опять ругаться с мужиками и... во время этой ругани организовал артель для разработки местного алебастра...

Но все это – и проба различных профессий, и образцовое хозяйство, и производительные артели – было для него не более как суррогатом, которым он заглушал в себе искусственно потребность в чем-то ином, подобно тому как голодный бросается на различные суррогаты хлеба в виде древесной коры, мязки[2], лебеды и пр. Все это не столько удовлетворяло его, сколько еще больше раздражало. Он не только не видел во всех этих «экспериментах» что-либо прочное, не только не верил в

какое-либо особое значение их, но, напротив, как будто и проделывал их с единственной целью доказать самому себе, что все это не более как «штуки» и «мазанье по губам».

– Русский человек – или романтик, или плут, – говорил он, залезая всей пятерней к себе в бороду.

– Будто бы так строго ограничено?

– Совершенно так. Какое же тут может быть общее дело? Общее дело только у плутов и может быть. А романтики к нему не способны уже потому одному, что расплывчаты.

– Но ведь у нас, как вы знаете, были попытки с довольно определенной целью?

– Ничуть. Один романтизм, стремление к чему-то очень хорошему, но в чем состояло это хорошее, а еще более – как к нему идти и что из сего выйдет, – мы ровно ничего в этом не понимали...

– Ну вот! Да и вы тоже романтик?

– И я романтик. Грешен теми же грехами уже потому, что сам русский...

– Но ведь вы – сын народа?

– Все некультурные народы – романтики; а наш тем более. Я, батюшка, такой крепкой

верой в чертей заручился среди своих родичей, что, признаюсь вам, до сих пор еще кой от чего не освободился.

Он сплюнул на сторону, как будто действительно отплевывался от дьявольского наваждения. Я улыбнулся, но он не обратил внимания.

– И знаете что, – сказал он, уставившись на меня глазами и засовывая за пазуху сюртука правую руку, – пока народ не узнает хорошенько себя, до тех пор будут одни недоразумения...

– И все оттого что романтики?

– От этого.

– Но согласитесь, что у народа нередко бывало «общее дело»?

– Какое же это дело? Заносит в деревню отставной солдат какую-нибудь прекрасную идею, примерно хоть о том, что с такого-то срока выйдет приказание с неба галушкам валиться... Идейка эпидемически охватывает баб и мужиков-романтиков, деревню за деревней, село за селом... Начинается «общее дело», бросание работ, уличные сходки... Затем команда – и ушат холодной воды на ро-

мантические головы...

– Есть, однако, события и покрупнее... Вот, к примеру, двенадцатый год?

– Это сожжение-то своих хат и «животишек»?

– Да хоть бы и это.

– Помилуйте, да какой же народ солидной культуры позволит себе такое молодечество?

– В таком случае все-таки нужно сознаться, что романтизм иногда бывал у нас «чреват результатами», как выражаетесь вы. И еще можно поспорить, что лучше: солидная культура с определенными и очень узкими идеалами или бескультурный романтизм...

– Может быть. Тем не менее то, что все мы романтики, – несомненно. А романтизм имеет одно очень скверное свойство: он живет и питается иллюзиями, а этим свойством очень удобно пользуются плуты. Кстати, вы знаете, что сегодня моя жена именины справляет?

– Нет.

– Пойдемте ко мне. К ней сегодня, наверно, съехалась вся здешняя уездная Палестина, как, бывало, съезжалась к ее отцу...

– А вы что же не участвуете в приеме?

– Я-с? – круто повернулся он ко мне. – Я с плутами несколько строг и груб, а романтики здешние меня считают не более как мужем моей жены и поэтому, кажется, презируют... Да и мне в них мало проку. Впрочем, жена у меня добрая, любит угощать. Я ей не мешаю: она теперь попала в свою стихию и отдыхает.

Я и так бессовестно долго заставлял ее цыганствовать с собой... Пойдемте!

Замечу здесь кстати, что не только баре, но и мужики третировали его, не то чтобы свысока, а запанибрата. Они давно знали, что он сын фабричного, и часто запросто «тыкали» его, в то время как перед «барыней» холопствовали. В особенности «по душе» относились к нему мужики помельче, неполитики. Им было известно, что он назывался еще в мальчиках Петром Малым, а потому он и преобразился у них в Петра Петровича Малова. Настоящая же фамилия его была Морозов.

Мы обогнули «крестьянские зады» и вышли на сельскую улицу, почти сплошь заросшую мелкою кудрявою муравой, напитанной, как губка, водой после недавнего дождя. Нам нужно было пройти через все село. На поло-

вине улицы от одного дома отделился мужик, без шапки, в одной рубаше и портах, подошел к нам и сказал «Здравствуйте», мотнув головой.

– А у барыни гости, – прибавил он, обращаясь к Петру Петровичу.

– А тебе что? – буркнул сердито Петр Петрович.

– Так, мол... Может, не знаешь... Она вон Дикому твои заведенья показывает. Хвалит.

– И пускай показывает.

– Знамо... У тебя разве что худое есть. Тебе скрывать нечего. Твоим делом всякий любуйся – не налюбуеться... Твое дело начистоту у всех...

– То-то вот и есть... Так и пущай смотрят... На то я и ферму устроил... А вы вот мне не верите...

– Как не верить? Верим. Да разве нам пристали эти игрушки-то? Мало что хорошо – да не возьмешь!

– Знаю, лучше вас это знаю. Кабы вы только это говорили, – так я бы вам ни слова не сказал... А вы вон в облако пальцем тыкаете.

– Что ж! В облаке, брат, и ты не велик вла-

ДЫКО...

Пока мы разговаривали с этим мужиком, к нам подошло еще несколько человек. Видимо, у них было до Петра Петровича дело.

– Петр Петрович, а мы опять к тебе по нашему делу... Крестьянское присутствие опять, вишь ты, затянуло нас, – заговорил тот же мужик.

– Я сказал – ступайте к майору.

– Да ведь что ж майор? Майор у нас душа-человек! Только в заправском деле выправки у него нету...

– Поспособствуйте! – заговорили мужики. – Мы бы по гроб жизни...

– Я уже вам способствовал, чего еще? Полгода из кожи лез, а что сделал?

– Так, так... Это что говорить! Продолжительное дело... Да, может, теперь оно ходчей пойдет...

– Ну, и ступайте к майору. А я не хочу, потому что все одно оно, что у майора, что у меня пойдет...

– Обстоятельнее бы с тобой.

Петр Петрович надвинул шляпу и зашагал от мужиков. Мы шли некоторое время молча.

– Вы знаете этого майора? – спросил он.

– Мало.

– Мы его встретим у жены. Потешный человек: стар, детски-наивен, храбрится, как отставной солдат на костылях. Он теперь гласным в земстве от крестьян; распинается там, шумит, заводит истории, одним словом – подвижничаёт. Нажил себе врагов, а больше, впрочем, насмешников. Крестьяне в нём души не чают, а по-моему, все это выведенного яйца не стоит, потому что – романтизм.

– Однако, значит, он полезен все-таки крестьянам?

– Наверно, но настолько, насколько полезен был бы и простой волостной писарь. Потому что ведь у нас все «на законном основании», а «законное основание» одинаково и для меня, и для майора, и для писаря.

– Потому-то вы им и отказали в содействии?

– Потому и отказал... Воображать, что могу сделать что-нибудь помимо «законного основания», как воображает майор, не могу, а потому отказал.

Мы прошли село, за которым невдалеке

показалась усадьба Морозовых. От деревни вид на нее был прелестный. Она стояла на косогоре, отлого спускавшемся к реке, поросшей по берегам зеленым тростником. Все здания скрыты были в зелени садов и рощи, разросшейся по косогору, и только кое-где мелькали сквозь деревья красные и белые крыши с белыми, блестящими на солнце трубами.

– Эдакая благодать у вас в усадьбе! – показал я Петру Петровичу, останавливаясь на повороте дороги, чтобы полюбоваться этой действительно редкой картиной.

– Да, хорошо! – прошептал он как-то лениво. – Я рад за жену. Рад, что, устроив это имение, я хоть чем-нибудь мог отблагодарить ее за кочевание со мной. А самому мне хотелось бы вон отсюда.

– Опять кочевать?

– Опять.

Петр Петрович улыбнулся.

– Вам это кажется смешным? Да, оно смешно выходит, действительно, – проговорил он задумчиво и шмыгнул правой рукой к боковому карману. «Щупает дипломы», – промелькнуло у меня в голове.

– Удивительное дело, – продолжал он, – не могу равнодушно смотреть ни на лес, ни на реку, в особенности на большую... Так и потянет руку к топору, к веслу. Тело у меня зудит. Кажется, с теми дипломами, какие у меня имеются, каким бы ученым можно быть, примерно хоть немцу! А у меня повалится из руки, потому что ей способнее и любезнее сжаться в кулак. И ведь не дилетант я, а вот, подите ж, больше дня в кабинете ни в жизнь не просидеть!

– Да и незачем совсем закупориваться.

– А что же делать? Науку я мог бы считать единственным делом, которое не напоминает романтизм. Да что ж вы сделаете, ежели тянет! Мой дед был бурлак, – понимаете, настоящий бурлак, рабочая сила, лошадь, запряженная в лямку, и, как русский мужик, романтик по преимуществу...

– А ведь русский романтизм имеет глубокие корни в тысячелетней невеселой народной жизни, – заметил я.

– Это совершенно верно. Этою жизнью народ дошел до замечательных обобщений. Но все эти обобщения романтичны и неизмери-

мо далеки от действительной жизни. Они далеко опередили его культуру – и вот почему ему теперь так «неможется». Мой дед любил петь и рассказывать про поволжскую вольницу, про Ермака, про Сибирь... При этом плакал. Да и есть о чем!.. Наш теперешний бурлак – и Ермак! А ведь дети одной реки! Как же можно было не быть моему деду романтиком! В своих рассказах он то возил меня с песнями по Волге, то тянул лямку по ее песчаным берегам, то уходил в сибирские леса, на Лену, Иртыш. В трескучие морозы мы валили вековые деревья, звенели топоры, жужжали пилы, раздавались выстрелы, падал пушной зверь, трещал огромный костер. Мы проживали на «новине» зиму, строили хаты, устраивали рыбные ловли и, основав поселение, уходили дальше, туда, в глубь дебрей. Вероятно, вследствие этого во мне так сильна «колонизаторская», «пионерская» жилка. Вот почему я и бросаюсь на такие предприятия, которые носят приблизительно этот колонизаторский характер, как, например, мое сельскохозяйственное заведение или артель, значению которых я, впрочем, не верю ни на грош. Даль-

ше идти нельзя, ибо наткнешься на «законные основания», а удовлетвориться этим не в силах! Туда бы вот, в глубь доисторических времен, где еще «законных оснований» не было!

Он улыбнулся, снял шляпу и провел рукой по волосам.

– Что же, – сказал я, – в Сибирь! Она велика...

– Конечно, я бы давно был там, если бы жил вместе с дедкой, во времена Ермака... Но, пройдя искус цивилизации, хочется взглянуть и на это дело пошире, чем смотрел по-волжский бурлак. А когда сложатся обстоятельства сообразно этому «пошире»? Впрочем, для этого не единичные силы требуются, а общее дело, – прервал он резко свою речь, которая так необычно плавно полилась было у него, – общее дело-с!

Мы подошли к усадьбе.

У палисадника из акаций, окаймлявшего передний двор, в глубине которого пропадал господский дом обыкновенной «барской» архитектуры, с двумя «парадными» крыльцами по бокам, со множеством окон, Длинный и низкий, с высокою красною крышей, стояло два экипажа. Один из них был старинный тарантас, с откинутым верхом, на рессорах, заложённый тройкой чёрных лошадей, две из которых были уже очень стары. Старый, угрюмый, с огромною седою бородой кучер похаживал вокруг них, изредка медленно и обстоятельно запуская в нос понюшки табаку, поправляя сбрую и вытирая лапами ветхого кафтана старческие ноги своих господских воспитанниц с побелевшими губами и проседью на гривах. Другой экипаж представлял собой лёгкую крестьянскую плетушку на тонких жердях, заложённую в одну лошадь, сытую, молодую, с широким глянцевитым крупом, густой и длинной гривой, в наборной, широкой и массивной сбруе, с расписною дугой. К ней то подбегала со двора какая-то юр-

кая, неугомонная чуйка[3] с чрезвычайно хлопотливым, сосредоточенным маленьким лицом, как говорят, «в кулачок», с торчащею на подбородке клиновидною бородой и маленькими, быстро бегавшими «мышинными» глазками, то опять убегала внутрь двора, в «барскую приемную».

Вдали палисадника виднелась простая крестьянская телега с расprostертыми по земле оглоблями; около нее ходила, помахивая хвостом, рабочая крестьянская лошадь, привязанная на всю длину вожжой, и подбирала придорожную траву.

Первый из экипажей, с заматерелым кучером и поседевшими лошадьми, принадлежал «Дикому барину», долго с честью и славою бившемуся за излюбленные «культурные начала», пока не удалился «в пустыню», как наилучший представитель их, и, обросши бородой, окутавшись в теплый шлафрок, не заперся наедине с самим с собой, с своею любовницей и единственной старой собакой в глухом кабинете своей разрушающейся усадьбы. Таков этот «Дикий барин», как прозвали его единогласно и окрестные крестья-

не, и помещики, и начальство. Мрачный, капризный, нервный, ходит он по своей добровольной темнице, скрипя половицами, глотая без наслаждения и внимания старое бургонское из последних бутылок, оставшихся от былых времен. Он приходился крестным отцом Лизавете Николаевне (жене Петра Петровича) и сегодня в другой раз изменил своему затворничеству – приехал навестить ее, верный слову, данному при смерти ее отцу: заменить ей его и передать его прощение, благословение и наследство. Первое его посещение относилось к тому времени, когда только что приехали Морозовы в свою усадьбу. На этой же тройке, в том же экипаже приехал он тогда, молча поцеловал в лоб свою крестницу, молча взял у несшего за ним лакея дорогой, обделанный в золото портфель, и, вынув из него документы, относившиеся к имению его покойного друга, отца Морозовой, подал их ей, лаконично определив их значение. Затем, подав ей одну руку, попросил другой Петра Петровича последовать за ним, обошел с крестницей усадьбу, с инвентарем в руках, и потом, так же молча раскланявшись с Моро-

зовым и вновь поцеловав в лоб его жену, уехал к себе, не показываясь вплоть до нынешнего визита.

За домом, в глубине сада, из-за густо разросшихся деревьев мелькнуло пред нами белое платье Лизаветы Николаевны. Петр Петрович, не заходя в дом, пригласил меня пройти прямо в сад. Мы обогнули угол дома и пошли по узкой боковой липовой аллее, из-за которой невдалеке виднелись деревянные и каменные усадебные службы. В конце аллеи, где она подходила к скотному двору и затем поворачивала в сторону, нам навстречу вышли Дикий барин и Лизавета Николаевна, опиравшаяся на его руку. В белом платье, с сияющим лицом, сквозь бледную кожу которого пробивался румянец, она с самодовольно-гордым наслаждением о чем-то рассказывала Дикому барину, показывая то в ту, то в другую сторону рукой. Дикий барин, в длинном сюртуке, длинный и сутуловатый сам, с черными, с проседью, волосами на голове и с длинной эспаньолкой, в соломенной шляпе и толстою палкой в руке, послушно поворачивался в ту сторону, куда указывала Лизавета

Николаевна, и одинаково сосредоточенно всматривался во все, что удостаивалось ее похвалы. А она хвалила все, потому что все это было делом рук ее мужа.

Нас долго они не замечали, но когда мы подошли уже довольно близко, Лизавета Николаевна, видимо, смешалась и несколько побледнела, как бледнеет нервный человек, опасливый и чуткий при всякой неожиданности. Она тотчас оставила руку Дикого барина и, улыбнувшись, подала руку мужу, который молча раскланялся с гостем.

– Ваша жена, – заговорил Дикий барин, – мне успела уже показать все свое имение и, конечно, не поскупилась на похвалу вам. Впрочем, похвала вполне заслуженная. Прекрасно, молодой человек! – прибавил он и протянул ему руку.

Петр Петрович слегка нахмурился и наскоро принял протянутую руку. Это маленькое замешательство тотчас же отразилось на нервной Лизавете Николаевне: она боязливо взглянула в лицо мужа и, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь, тотчас же предложила идти в комнаты.

Все мы повернули обратно и двинулись вместе по той же аллее по направлению к дому, выходявшему балконом в разбитый перед ним большой цветник с живою изгородью из сирени, жимолости и тополей.

– К сожалению, я слышал, – заговорил с Петром Петровичем Дикий барин, надевая шляпу и закидывая руки с палкой за спину, – вы не придаете особого значения своим прекрасным работам по устройству родового имения вашей жены... Это справедливо?

– Да, не придаю, – отвечал Петр Петрович.

– Гм... Обыкновенная история! С таким небрежным отношением к делу русскому человеку никогда не быть передовым. В нем нет той упорной настойчивости, той культурной напряженности, которые так возвысили европейские нации. Русский человек – по преимуществу «не помнящий родства». Он не создаст себе почвы, с которой бы связали его крепко и неразрывно культурные предания. Он вечно будет цыганствовать. В его знаниях и способностях нет прочной устойчивости, нет уважения к ним. Он не сосредотачивает их на одном пункте, он, как расточительный и

блудный сын, бесплодно разбрасывает их, не думая о том, попадут они на камень или на восприимчивую почву.

– Это справедливо, – заметил Петр Петрович, – но действительно ли это так плохо, как думают, – еще вопрос.

– Интересно знать, – заговорил Дикий барин, повернув в сторону от нас лицо и как бы не слыхав последнего возражения, – интересно знать, что при подобных воззрениях сделаете вы... то есть вообще *ваши*... для блага *вашей* родины... *Ваши*, кажется, свысока трети- ровали и английского лорда, и французского буржуа... Ну и прекрасно! События привели к тому, что дело у нас именно оказалось таким, как вам было желательно. Гм... События разрушили те культурные зачатки, которые вы- рабатывали наши отцы. Что же вы намерены наращать взамен того старого?

– Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому

подобные культурные насаждения?

– Да ведь и вы совершенно хладнокровно оторветесь от той почвы, на которой возрастут посеянные вами плоды?

– Совершенно хладнокровно.

– И пойдете цыганствовать и бездомничать во имя каких-то исканий чего-то?

– Да.

– Вот оно, царство «не помнящего родства!..» Вот он, бесконечный Юрьев день[4]! – произнес Дикий барин сквозь зубы, и у него вырвался короткий, сухой смех.

– Ах, боже мой! – воскликнула Лизавета Николаевна, все время смущенно слушавшая разговор мужа и Дикого барина. – Да вы оба безжалостно лжете на самих себя! Ведь вы, папа-крестный, не продали кулакам свое имение? А он, Петя, мог ли бы так устроить свое хозяйство, если бы не любил это дело, если бы не нашел в нем, наконец, то, чего так долго искал! Неужели вы думаете, что это дело, начатое с такой любовью, с такими знаниями, непрочное? О, это неправда, неправда! Здесь положены любовь, знание, свобода... И на них-то построится то новое здание, которое

получат в наследство наши дети!..

Все это она выговорила торопливо, нервно, ускоряя с каждым словом шаги и в волнении махая свободною рукой. Мы подошли уже к дому, и на ее горячее возражение никто не отвечал, только Дикий барин горько, надменно улыбнулся, да Петр Петрович раза два спутешествовал рукой за пазуху сюртука, что было у него признаком раздражения.

III

Когда мы поднимались по ветхим ступеням террасы, выходявшей в сад, до нас донесся из залы оживленный говор.

– У тебя уже гости, – сказал Дикий барин Лизавете Николаевне, приостанавливаясь на первых ступеньках. – Я не пойду. Я поеду домой.

– Зачем же так скоро? Выпейте хоть стакан кофе.

– У меня с ними нет ничего общего. Я не могу... Я раздражаюсь.

– Да и у нас с ними нет ничего общего...

– Не знаю-с, не знаю-с... Может быть... – скороговоркой проговорил Дикий барин. –

Впрочем... я у тебя так редко бываю... Я останусь на четверть часа... Но это – большая жертва с моей стороны... Это только для тебя...

Я заметил, как при этом коробило добродушного Петра Петровича. Он выделывал какие-то странные гримасы губами и покачивал головой, как будто говоря про себя: «Эк ведь изломался как! А романтик! Романтик чистый, как все мы!..» По его лицу и движениям заметно было, что он сам не раз был готов радушно пригласить Дикого барина, но всякий раз отступал и вместо приглашения только что-то бормотал беззвучно губами. «Что ж, коли ломается!» – говорило его добродушно-сердитое лицо. Это было понятно в Морозове. Насколько я его знал, он был чрезвычайно чуток ко всякой утрировке, ко всякой искусственности; он часто замечал ее в таких тонких формах, в таких, по-видимому, «душевных» отношениях, где другой глаз все принимал за чистую монету; и так как он по открытости и добродушию своего характера никак не мог удержаться, чтобы не дать заметить своих наблюдений, то и нажил себе мно-

го врагов; люди, прежде души в нем не чаявшие, сердились на него, начинали дуться и «отъезжали» от него. Вследствие же такого свойства натуры он не раз терял популярность во времена своего «молодечества», как называл он один из периодов своей деятельности и, вместо того чтобы быть «передовиком», вопреки всем ожиданиям являлся на втором плане или даже совсем стушевывался. Это, впрочем, помогло ему избежать, помимо его воли, многих неприятностей.

Мы вошли в зал. Тут действительно собралась если не вся «уездная Палестина», как говорил Петр Петрович, то кое-какие представители ее были налицо. Прежде всего бросились в глаза два высочайшего роста, уже немолодых джентльмена, с здоровыми мясами, стянутыми в поношенные венгерки. Они постоянно подергивали плечами, распрямляли члены, как будто неустанно производили гимнастические упражнения. Два Аякса[5] были уже «изрядно заложивши», как было заметно по их глазам и испытанным физиономиям. По отрывочной фразе, на которой мы их застали, оказывалось, что они стремились в

Сербию – кого-то и за что-то «разжечь...». Но их пыл охлаждал земский председатель, человек крепкого сложения, румяный, с брюшком и одетый очень тщательно, даже слегка подвитой, очевидно с претензией нравиться дамам. Это был Бурцев, известный в уездной Палестине под кличкой «Никаши», прежде большой забулдыга, а теперь «представитель». По уездной палестине ходила про него и Дикого барина сплетня. Рассказывали, что Никаша, промотав большую часть своего «родового», лет пять тому назад вернулся в свои Палестины из столицы за приисканием «средств к жизни». Он сумел скоро втереться во все дома скучающих помещиков, которым нравилась «новая, свежая струя», вливавшаяся вместе с его громким хохотом, скабрёзными рассказами и замечательно беззаветной «неунываемостью» в тоску и скуку их жизни. Он скоро заметил, что он нужен. В это же время, учуяв, что у Дикого барина осталось еще полпогребца бургонского, Никаша забрался и к нему. Дикий барин, никого не подпуская к себе, отступил перед Никашей и позволил обольстить себя. Он глубоко верил, что, если в

ком осталась теперь прямота и честность, так это в добродушных Бурцевых, кутилах и забияках; во всех других он видел «подленькие подходы», «либеральные вилянья», вообще «печать времени». Итак, Дикий барин допустил Никашу к себе. Часто сидели они вдвоем по вечерам в усадьбе Дикого барина и распиливали бургонское...

– Прикажете налить? – спрашивал Никаша.

– Налей.

– И мне-с?

– И тебе.

Стаканы наливались – и выпивались.

Одним таким же вечером вдруг влетает Никаша к Дикому барину весь сияющий, весь пропитанный букетом какого-то невиннейшего самодовольства.

– Чего ты ликуешь? – спросил его Дикий барин, сидя с поджатыми ногами на широком оттомане.

– Я нынче счастлив, ваше-ство... Позвольте чокнуться с вами!..

Дикий барин подозрительно поглядел на него. Он не допускал все-таки и с Никашей та-

ких фамильярностей.

– С нынешнего дня я удостоен избранием почтенных представителей... – начал, сидя, Никаша.

– Ты? – спросил Дикий барин, и у него дрогнула рука.

– Я-с...

– Ты? На мое место? Ты, Никашка Бурцев?

– Ваше-ство, – обиделся Никаша, – в моем лице вы обижаете благосклонное внимание сословия...

– Во-он! – крикнул, весь побледнев, Дикий барин.

Никаша стушевался, а Дикий барин все еще стоял в одной и той же позе, бессознательно поводя сверкавшими из-под седых бровей глазами по двери, из-за которой он, казалось, все еще ждал появления кого-то. Вошел его старый камердинер.

– Одеваться! – приказал Дикий барин. Старик камердинер в недоумении стал чистить барский мундир; завозился, кряхтя, на печи седой кучер; закрипел давно не смазываемый старый тарантас, выдвинутый на божий свет из крошечной тьмы сарая, и заматерев-

шие, в летах, клячи лениво становились в упряжь. Дикий барин поскакал в губернский город и через день же вернулся, еще более нервный, еще более мрачный.

Понятно, что Дикому барину и Никаше не особенно была приятна настоящая встреча.

Вместе с Аяксами, что-то доказывая, горячился старичок. Предупрежденный Морозовым, я сразу признал в нем майора. Он был в полувоенном сюртуке, с форменною фуражкой в руке, которою в споре махал по воздуху. Маленькие выцветшие глазки его так усердно бегали и метали такими взглядами, как будто хотели выпрыгнуть, не довольствуясь тем ограниченным пространством, которое отвела им природа под густыми седыми бровями; жидкие седые волосы торчали вокруг его маленькой лысины прихотливыми завитками «по-суворовски»; длинные белые усы, обрамляя небольшой рот и чисто выбритый, подбородок, низко спускались к груди. Маленькое и легкое тельце майора поддерживалось и носилось с места на место словно невидимыми крыльями, так как тонкие его ножки, обутые в мягкие, стариковские сапоги

без каблуков, дрожали и гнулись. В споре он старался перекрычать всех, отчего краснел, задыхался и брызгал слюной, которую больше всех принимал на себя бывший тут же улыбающийся батюшка, мужчина лет тридцати пяти, из новых, гласный в земстве и член педагогического совета. Он все стремился ворваться в спор, но, пока вставал с места, пока запахивал рясу, пока поправлял широкие рукава и простирал руку, говоря: «Позвольте заявить возражение», всегда опаздывал, ибо о том, на что он хотел заявить возражение, уже давно не говорилось, и он отходил с улыбкой опять к стулу. Не участвуя в разговоре, с надменным высокомерием ходил вдоль комнаты, закинув руку со шляпой за спину, очень молодой человек, в золотых очках и во фраке. Я слышал про него. Это был адвокат – феномен в своем роде; проникнутый глубочайшим уважением к родовитости и аристократизму, он презирал искренно, от всего сердца «мещанство» и брал защиту только родовых дворян. Наконец за входной дверью, в углу, сидел какой-то старик из крестьян, с подрезанными на лбу седыми волоса-

ми, в синем, застегнутом наглухо армяке; он от времени до времени то старался одним ухом вслушаться в спор, то плевал тихонько в угол и что-то шептал, — вероятно, молитвы, — наклонив голову. Когда мы вошли, спор прекратился. Начались поздравления. Пользуясь ими. Дикий барин торопливой, но твердой поступью прошел в соседнюю комнату, не обратив ни на кого внимания, даже на адвоката, который выразил на лице своем глубочайшее почтение и ловко отдернул стоящий на дороге стул. Когда поздравления кончились, от дальнего окна поднялась стройная женская фигура, с крупными чертами лица, большой косой, просто собранной в кольцо на затылке, и в простом ситцевом платье. Ей было с первого взгляда лет двадцать пять. Она медленно сделала два шага вперед, когда Лизавета Николаевна с радушным лицом направилась к ней, и молча пожала ей руку, без всяких поздравлений; так же холодно и молча подала она руку и Морозову, который наскоро отдернул свою и, как мне показалось, чтобы скрыть замешательство, подошел тотчас же к батюшке и стал приглашать его тихонь-

ко «курнуть» к нему в кабинет, на что батюшка также шепотом и мимикой изъяснил согласие. Я тоже счел наилучшим отправиться вслед за Морозовым и либеральным батюшкой.

IV

Скоро я остался один в кабинете Морозова. Я не бывал еще у него в новой, «барской обстановке», как называл он свое настоящее положение в качестве «барынина мужа», и потому меня интересовала всякая мелочь. Может быть, я думал уловить какой-нибудь смысл, «идею». В наше время этим «мелочам обстановки» было придано такое значение, что на них почти невольно обращаешь внимание. Прежде всего мне бросилась в глаза замечательная скромность кабинета Морозова. Простой деревянный длинный письменный стол, покрытый черной клеенкой; у окна два-три деревянных, массивных стула, может быть, своей работы; старый диван с кожаной жесткой подушкой; вдоль стены стоял верстак, под ним валялись свежие опилки и тряпки; немного дальше, сбоку от письменного стола, у другого окна – токарный станок. По

стене висели два ружья с принадлежностями, револьвер, рабочая блуза, инструменты и подвесные полки с книгами, которых много, кроме того, лежало на письменном столе и на старинном комоде обыкновенного мещанского фасона, с полубломанными медными ручками у ящичков. Книги были в здоровых, плотных переплетах, больше классики по различным «отраслям ведения»; все – томы внушительных размеров, компактной печати и тяжелого, неудобоваримого для обыкновенного смертного содержания. Я вынул одну из них: оказался том механики Вейсбаха. Но рядом с ним, к моему удовольствию, я откопал том Шекспира, из-за которого виднелась какая-то маленькая книжка. Я посмотрел: «Книга песен» Гейне. На заглавном листочке женской рукой написано: «Катерины Масловой»... Тут же дата «1 декабр. 69 г.» А в самом низу, карандашом, два стиха из Шиллера:

*В царство звуков из могилы,
В божий свет из тьмы густой!..*

Я взял книгу и, сев к окну, стал ее перелистывать. Во многих местах были сделаны за-

метки карандашом и вписаны, уже мужской рукой, кое-какие стихи; попадались вопросительные знаки. Под одним из стихотворений, именно под второй главой «Горной идиллии», было написано рукой, кажется, Морозова: «Обращаю внимание своей дорогой воспитанницы... Прошу вникнуть». Но я заметил, кроме того, еще одну странность: заметно было, что книжка эта хранилась тщательно и с любовью, и все отметки и стихи, написанные карандашом женской рукой, были покрыты гуммиарабиком. «Словно министерские пометки!» – подумал я, улыбнувшись.

Пока я вертел перед глазами эту книгу, до меня долетали из соседних комнат в полуотворенную дверь обрывки разговоров. Речь, кажется, шла «о событиях дня», которыми было восстание славян[6]. Два Аякса, вероятно выпив еще, выразили еще большее желание устремиться в Сербию, чтобы кому-то что-то «доказать». Никаша теперь уже не усмирлял их пыл, а, напротив того, поощрял, тем более что и батюшка благословлял. Вообще, заметно было, что Никаша взял «высокую ноту» и уже вошел в какую-то роль, которая, по его

словам, заключалась, кажется, «с одной стороны, в искоренении вредных элементов, с другой стороны – в поощрении глубоких начал»; в чем состояли последние, наверное, сказать было нельзя, но можно предположить, что дело касалось Аяксов. Всю эту «высокую ноту» он пускал, очевидно, в виду присутствия Дикого барина, потому что не раз повторял фразу: «Мы не с ветру-с... Мы сознательно идем к одной цели... Мы ясно определили для себя тот путь... Мы, как представители, обязаны уловить ту нить... Мы должны прозревать в среде направление общественных симпатий...» и т. п. Но батюшка с ним не мог согласиться, и, когда Никаша предложил проект панихиды «по убиенным славянам», он заявил, что-де «не будет ли это раненько и, так сказать, предвосхищением событий... У нас господин благочинный очень строг в политике и руководствуется наиболее официальными указаниями...». Никаша настаивал, но, несмотря на то что он даже жертвовал на это своих три целковых, батюшка колебался и только тогда решился, когда Никаша крикнул: «Я отвечаю!»

– Мы вот-с как это сделаем, – заявил батюшка, – чтобы господину благочинному (батюшка, как «новый», звал заочно своего благочинного «господином», а не «отец благочинный»), чтобы господину благочинному не подать каких-либо поводов, я-с отслужу после обедни панихиду вообще, о всех христолюбивых воинах, павших на поле брани... Тут уж все войдут – и севастопольцы, и двенадцатый год... Тенденции-то никакой и не будет!

Все согласились на это, даже майор прикинул.

– А вот мы теперь не выпьем ли за успех? – предложил один из Аяксов.

– Вот это прекрасно! – поддержал Никаша. – Я, кстати, и книжку предложу-с, пользуясь случаем...

– Какую книжку?

– А вот видите... от комитета!

– Что ж, это хорошо! – сказал батюшка. – Вы с меня за панихиду-то и зачтите. Я готов пожертвовать!

– Нет-с, позвольте... Сначала, как и подобает, инициатива должна принадлежать его-ству...

Все отправились в гостиную, где Дикий барин с Морозовым пили чай.

– Ваше-ство! – начал Никаша. – Вам, как и всем здесь присутствующим, небезызвестно, конечно, какие ужасные события совершаются в судьбе единопле...

Я нарочно подошел к двери, чтобы послушать речь Никаши. как вдруг он оборвал ее на полуслове.

– Извини, Лизочка, прощай! Я не могу больше... В другой раз! – заторопился Дикий барин. – Навестите меня как-нибудь... Буду рад... А теперь не могу... Где моя шляпа? Палка?

Но Никаша смутился только на минуту, и, в то время как Дикий барин поспешно уходил, сопровождаемый Морозовыми, он продолжал речь к оставшимся. Конец речи вызвал сильный протест со стороны майора. Майор закипятился: дело, кажется, состояло в том, что Никаша заявил о своем намерении собрать с крестьян пожертвования: с одной стороны, через станowych, «с разъяснением сущности дела», и с другой стороны – путем земства.

Майор восстал против этого, поддерживаемый упорным несогласием на этот проект со стороны седого старика.

– Так, так, миленький! – поощрял его майор, ликуя и сияя всей своей маленькой персоной. – Верно! Держи выстойку... Мы, мол, и сами сумеем... За нами дело не станет; захотим – головы положим!

– А что, у вас много в земстве выживших из ума стариков? – спросил сдержанным голосом адвокат «от дворян» Никашу.

– Юноша! – загремел майор, нахмутив брови, и засеменил ножками (очевидно, он поторопился принять замечание на свой счет). Не спеши обижать старого майора!.. Не опасайся! Он не тебя удостоит своим уважением... Вникни: в 1835 году...

Но тут майор заговорил так быстро, что до меня долетали только одни отрывки какой-то странной хронологии в таком роде: «...в 1835 году... состоял и, быв препровожден курьерно... в 1848 году... состоял и быв... откомандирован в Орск... В 1854 году... испросив всемилоостивейшего соизволения пролить за отечество... всемилоостивейше соизволено... про-

лил... За дело на Малаховой кургане состоял... и быв... выслужил и получил... В 1861 году, в незабвенный день девятнадцатого февраля... поселился среди крестьян... и ныне, божьею милостью, пребываю...»

– Ха-ха-ха!.. Полно, старина, полно! – покровительственно посмеиваясь, заговорил Никаша. – Да кто же вас не знает! Ах, хорохора!.. Ха-ха-ха!..

И Никаша нежно тыкал его пальцем в живот. Батюшка посмеивался, а адвокат несколько струсил и конфузливо отошел к окну... Я взглянул на Морозова: он ходил по комнате, потрепывая бороду, и опять по лицу его носилась мысль: «Эк ведь ломается! И к чему ломается!.. А романтик! Чистый романтик!..»

– Так, так, миленький!.. – опять поощрял майор седого старика, равнодушно и лениво внимавшего «барскому разговору», как слушает пустые речи больной или уже отрешившийся от мира человек, которому давно все это надоело, – так, так!.. Крепись, дружнее стойте... Хвалю!..

– Что нас хвалить? Стары уж мы, хва-

лить-то нас! – лениво и сердито, отворачиваясь к окну, проговорил седой старик. – Дурно ли, хорошо ли – наше при нас и останется. Нас уж бог разберет!..

– Да, да! – заволновался майор. – Все еще у меня это старое... Поощрить, похвалить... Эх в нас засело!.. Ха-ха!.. И Орск не вытрезвил... А? Петр Петрович! Орск – и тот не вытрезвил... А?

– И Орск – романтизм, – буркнул Петр Петрович, залезая рукой за пазуху и в нервном раздражении двинув ногой стоявшее не на своем месте кресло.

– И Орск? – переспросил майор внезапно надтреснувшим и даже дрогнувшим голосом.

– Ха-ха-ха!.. – захохотал опять Никаша. – Ах, хорохора!.. Ах, старина, старина!.. А он думал и невесть что!..

– И Орск? – проговорил уже еще тише майор, как бы для самого себя. – Ну, это... это, кажется... – слишком уж действительность...

Он весь локраснел, как уличенный школьник, смешался, смутился и закашлялся...

– Ха-ха-ха! Ах, хорохора! – поощрительно захохотал было опять Никаша и выразил да-

же намерение радушно обнять старика, а ба-
тюшка уже поправил рукава ряски, пригото-
вляясь «сделать и с своей стороны заявление»,
как из соседней комнаты показалась та се-
рьезная девушка, которую заметил я рань-
ше... Неся в руках фуражку и толстую сукова-
тую палку майора, она быстрой, но твердой
поступью подошла к нему и взяла его под ру-
ку.

– Папа, уйдем отсюда... – раздался чистый
и ясный до резкости голос, несколько дрог-
нувший на последнем слове. А через секунду
в глазах ее блеснул огонек, и кровь залила
обе щеки, когда ее взгляд приметил нервную
дрожь на лице Морозовых.

– Домой? Да?.. Пожалуй! Я ведь ничего...
так... закашлялся! Это пройдет, – торопливо
заговорил еще более смущенный майор. –
Прошу извинить, – обратился он, расшарки-
ваясь по-военному, к присутствовавшим, –
вот она... домой хочет!

И он вышел «петушком» вслед за дочерью.

Гости с усмешкой переглянулись; Лизавета
Николаевна, чтобы скрыть смущение, заня-
лась с прислугой, а Никаша подлетел к ста-

равшемуся с нервной торопливостью свернуть папиросу Петру Петровичу и, подернув плечом по направлению к двери, куда вышел майор с дочерью, сказал полушепотом и полутаинственно: «Вредные элементы-с!»

– А его-ство тоже «вредный элемент-с»? – сиясь улыбнуться, спросил его Петр Петрович.

– Н-да?! – вскрикнул нелепо Никаша, не зная, засмеяться ли ему на этот вопрос или обидеться.

– Это значительно любопытный вопрос! – вывел его из затруднения батюшка.

– Ха-ха-ха! Да, это интересный вопрос!

– А вот тут еще господин доктор, Башкиров, проживает, – сообщил батюшка, – тоже элемент-с! Умный он человек, надо полагать, но не люблю я его. Не своим делом занимается. Мораль христианскую изволит проповедовать. Хорошее, конечно, это дело, но всякому довлеет свое...

– А не выпьем ли мы еще, господа? – предложил Морозов.

Это предложение было очень кстати. Все выпили, но уже беседа не клеилась. Видя, что

хозяева «не в своей тарелке», по замечанию батюшки, которое он сделал мне шепотом, войдя с бутербродом в руках в кабинет, гости стали прощаться, тем более что на обед рассчитывать было нельзя, так как Лизавета Николаевна, по общему мнению, была «либералка» и старыми обычаями пренебрегала.

Остался один седой старик, все так же мирно сидевший в углу за дверью и безучастно внимавший совершавшемуся перед ним. Наконец он вздохнул, собрал тщательно с колен крошки белого хлеба, с которым пил чай, стряхнул полы и поднялся. Вытянувшись во весь рост, он был очень красив: во всей его фигуре чувствовалось какое-то настойчивое самосознание с примесью смирения, как это бывает у монахов; его умные и зоркие глаза светились такой глубиной, что, казалось, они глядели постоянно куда-то вдаль, поверх всего, что было вблизи.

– Благодарствую, матушка Лизавета Николаевна, – сказал он, – за чай-сахар, вашей милости...

– Ты-то чего же торопишься, Филипп Иванович? – спросили Морозовы.

– Я уж в другой раз приеду побеседовать с тобой, Петр Петрович... Неколи теперь, недосуг. Я вот барыньку-то, по-старинному, поздравить завернул...

– Ну, что же, как у вас в земстве, Филипп Иваныч? – спросил Морозов.

– Ты сам, Петр Петрович, знаешь, что там... А наше дело одно: как бы греха не наделать. В этом всю и мысль полагаешь. Много было грехов-то, так на старости только одно смотришь, чтоб еще на душу не принять. Вот и все наше дело в самом этом земстве.

Я улыбнулся, что старик, казалось, заметил.

– Ох, грехи, грехи! Дело, кажись, немудреное, а куды не легко! Ежели бы его-то исполнять по-настоящему, так и то бы в самый раз было! – проговорил он, смотря куда-то вдаль, поверх моей головы. – Прощенья просим! – прибавил он, мотнув головой и протягивая Морозову старую, медно-коричневую руку.

– А то остался бы пообедать, Филипп Иваныч, – приглашали Морозовы.

– Нетутка... Неколи! – ответил он, махнул шляпой и вышел.

– Кто это? – спросил я Петра Петровича по уходе старика.

– Умный мужик и в то же время не подлец и не романтик. Знает, чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возможно делать при данных условиях, чтобы не тратить даром пороха...

– То есть то, что выражается в одном слове: «не грешить»?

– То, что выражается в слове: «не грешить». Бывают такие условия деятельности, при которых сохранение и защита даже отрицательных добродетелей составляет подвиг... Наши крестьяне-присяжные и лучшие гласные из крестьян – живые примеры этого.

Мы замолчали.

– Ну, вот и опять мы одни! – сказала со вздохом Лизавета Николаевна, садясь перед неубранным еще чайным прибором и откидываясь с беспомощно сложенными на коленях руками к спинке дивана. На ее лице светила не то улыбка иронического сожаления о чем-то, не то выражение какого-то затаенного предчувствия, возможности возврата чего-то старого, тяжелого, пережитого. Я узнал

это выражение: оно было хорошо знакомо мне. Встретив Лизавету Николаевну в саду, цветущую, довольную, очевидно наслаждающуюся, наконец, устроившеюся по ее вкусу жизнью, я уже думал, что этому выражению не суждено больше налагать на ее лицо печать преждевременной дряхлости, пассивной покорности судьбе и вечно неопределенного томления. И вот опять – оно. Опять я вижу перед собой прежнюю Лизавету Николаевну, как десять лет назад, сидящую так же за неприбранным чайным прибором, на студентской угарной и сырой квартирке в Петербурге, в Семеновском полку. Она сидит с озябшими ногами в теплых калошах на старом, с перелопавшейся подушкой, диване, с книгой в посиневших маленьких аристократических, почти прозрачных руках. Она смотрит в книгу, но ее мысль, очевидно, витает где-то далеко, и на ее лице лежит томительное и как бы вошедшее в привычку страдание.

Дочь богатого помещика, она, как дитя того периода, когда русская женщина жила «накануне» чего-то, увлеклась молодым Морозовым, жившим в качестве управляющего у со-

седнего помещика. Она страстно, беззаветно отрешилась от всего и во имя любви к нему, и во имя какой-то неопределенной идеи «новой жизни»: бросив отца, богатых женихов, роскошь окружавшей ее обстановки, она ушла за Морозовым. «Грубая действительность», конечно, не заставила себя долго ждать и начала безжалостно и обрывать и мять «цветы романтизма». Лизавета Николаевна волей-неволей вступила с нею в борьбу. Она выставила против нее все душевные силы, какие были в ней; а в ней было сердце глубоко любящее, самоотверженно-преданное. Но и только. Борьба была тяжела и едва выносима. Морозовых беспощадно жала нужда. Эта нужда была ничто для Петра Петровича; он «купался в ней, как сыр в масле», по его собственному признанию; но она была тяжела для Лизаветы Николаевны. И это видел и чувствовал Морозов; видел до жуткой ясности, что он ничего не может выставить против этой нужды. Он несколько раз хотел бросить свои скитания по «научным капищам» и «пристроиться», — но могла ли эта жертва удовлетворить Лизавету Николаевну? Разве ей нужна была эта

жертва? Мало этого: она угадывала чутьем, что она стесняет деятельность мужа. Были случаи, когда он отказывался от участия в некоторых рискованных предприятиях. Она даже слыхала, как прямо соболезовали об ее муже, что он пропащий человек для дела, что он изменил своим инстинктам, сойдясь с враждебным, в самом себе носящим разложение и расслабление элементом, то есть с нею. Она металась в этой ужасной дилемме, поставленной ей жизнью. Но ни слова ропота, ни звука жалобы или отчаяния не вырвалось из ее души. Иногда сам Морозов думал о ней так же, то есть как о веригах, но это были мысли мимолетные, скверные мысли: он глубоко раскаивался в них. Он целовал ее руки, просил у нее прощения за эти мысли: он чувствовал искренно, что не может ни под каким видом не преклониться пред этим «золотым сердцем», не уважить то самопожертвование, с которым пионеры того времени выносили на своих плечах «новую идею», не ценить эту чистую, беззаветную преданность...

— Вы не поверите, как тяжело быть всегда одним, — продолжала Лизавета Николаевна,

обращаясь ко мне, – не иметь дружка, солидарного по убеждениям и симпатиям! Вечно сидеть между двумя стульями и, оторвавшись от одних, не пристать к другим!.. Вы видели: мы для всех чужие, какой бы слой общества ни взяли мы...

– Это, Лизочка, – «историческая необходимость», говоря ученым языком, – заметил Петр Петрович, наливая сам себе стакан. – Бывают времена, когда «не помнящие родства» цыгане составляют «историческую необходимость»...

– Но ведь и цыгане могли бы быть солидарны между собой? Они-то где же? Ну, дайте их. Мы протянем им руку, мы дадим им свою любовь, свое сердце, всех себя.

– А солидарность между цыганами и «не помнящими родства» составит второй период «исторической необходимости». А когда он настанет, не знаю; значит, еще время не пришло. Но уж, вероятно, не мы в нем будем фигурировать...

– А кто же?

– Кто помоложе...

– И они с нами все-таки не сойдутся? – Нет.

– И мы состаримся, исполнив какую-то странную миссию «цыганства»?

– И состаримся.

– Вы знаете Катерину Егоровну... майорскую дочь? – спросила меня вдруг Лизавета Николаевна.

– Нет, почти не знаю.

– Странная девушка! Я ее не понимаю. Ее манеры меня раздражают... раздражали всегда... Она ведь воспитанница Пети. Она приехала в Петербург и тогда познакомилась с нами. Мы знали ее сперва под фамилией Усташевой, потом вдруг она переменила фамилию и стала звать себя Масловой... Катериной Масловой...

Я вспомнил тотчас же книжку Гейне.

– Я ее не понимаю, – повторила опять задумчиво Лизавета Николаевна.

– И не понять нам. Или по крайней мере – трудно... – заметил Петр Петрович. – Вот тебе пример.

– Но неужели, Петя, мы, вчерашние «новые люди» (Лизавета Николаевна улыбнулась), так уже быстро успели состариться? Зачем эта сегодняшняя выходка Кати? Отчего к

нам не ходит этот... Башкиров?..

Петр Петрович пожал плечами и задумчиво стал курить сигару. Задумалась и Лизавета Николаевна.

Я подал им руку; они молча пожали мне ее, и я ушел.

Глава вторая

Башкиров

I

Я безучастно глядел на расстилавшийся передо мною тихий, мягкий пейзаж, каков он бывает в наших скудных палестинах перед закатом солнца. Его грубые во всякое другое время линии приняли то освещение, при котором солнце как будто ласкает своими последними лучами убогие равнины нашей родины, как будто этим нежным, мягким блеском силится скрыть грубоватый колорит скудной природы и ее обитателей, недавно еще так рельефно бросавшийся в глаза под изнуряющими, палящими его лучами. Я стоял на косогоре; от меня вниз, в широкую и глубокую лощину, сбегало море ржи, залитой золотом косых лучей, по которой мелкою волной ходили едва заметные полосы теней. Оно казалось мне бесконечным водопадом, беззвучно катившим от моих ног куда-то далеко, в беспредельную область, волны, несущие в

себе довольство и полноту жизни. Дальше, по зеленой пойме, стеклянной лентой блестела река; за нею, в глубине, тянулась полоса лесов, как дикая гряда облаков на горит зонте, а там, еще дальше, где-то искрилась, переливалась и горела на солнце, до боли в глазах, глава одинокой колокольни. С реки несясь едва слышный шум колеблемой ветром осоки, сторожившей берега этой маленькой, но глубокой речки; откуда-то долетало журчанье мелкой волны, бившейся о камни, запрудившие родник; с отавы слышались смешанные звуки звенящих бубенцов и колокольчиков от пасшейся скотины... Все эти звуки лились мягко и плавно и погибали в беспредельном море чистого, теплого воздуха. И вдруг в смешанный хор разнообразных звуков, несшихся и со стороны реки, и с поля, и от леса, влился еще особенный, нежный и лепечущий звук. Я остановился и стал прислушиваться.

– А мне нынче сон приснился, – тихо говорил чей-то свежий, ясный голос, в котором звучали резкие, твердые ноты, – такой чудесный сон!..

– Какой? Ангел, что ли? – спросил другой,

тоненький, слабый, очевидно еще детский, голосок. – Мне вот ангел приснился, весь белый, вошел он к нам в окошко и стал у меня в изголовье. Так мне светом и резануло в глаза, даром что я закрывши глаза спала... Проснулась, а мне в лицо прямо из окна месяц таково светит!..

– Вишь, тебе какой сон приснился! Это хороший сон...

– А мне вот такие сны не снятся, – заметил еще чей-то, тоже слабенький голос, – мне страшные все... Все лешие да домовые, а то ведьмы. Меня все пугают ими дома... Нет, мне такое хорошее не снится...

– А ты помолись, – посоветовал первый голосок.

– Я молюсь... Да это уж не оттого. А тебе какой приснился?.. Хороший тоже?

– Мне хороший, только простой, – ответил голос постарше, – мне приснилось, будто маленькая я, совсем маленькая, и будто я в поле со своей мамой... Маме нужно было рожать... Она взяла меня, подняла на руках, проговорила молитву и опустила вот на эту, на рожь-то... Потом перекрестила, поцелова-

ла и ушла жать. А мне так сделалось хорошо, – лучше, чем в люльке... Рожь эта качается так тихо, и мягко так на ней. Вверху синее-синее небо, как теперь; нет-нет облачко пробежит, белое, как сахар; бежит-бежит и вдруг остановится и растает...

– Ну?

– Я глядела-глядела, качалась-качалась, меня рожь и убаюкала... я и заснула.

– И только? – спросил четвертый голосок, хриплый какой-то, болезненный.

– И только... Чего же больше? Больше и не нужно. Я и во сне видела то, что наяву люблю. Я люблю вон с того косогора смотреть на эту рожь... Сяду и смотрю, как она колышется, а в это время мысли так и бегут в голове...

– А о чем ты думаешь?

– Да многое думается, о всяком... Думается и то, что лучше: умирать ли, чем жить, или идти дальше куда-нибудь и искать, все искать...

– Мне вот, ровно в слово, такое же привиделось, – сказал больной голосок. – Будто я в эту рожь, словно в реку, бросилась – и поплыла. Только так мне страшно стало, будто тону

я... Хочу вскрикнуть, а тут вдруг турка выхватил меня за ноги и держит над рожью... Я закричала и проснулась. И страшно мне, страсть как боюсь взглянуть на стену. А на стене у нас картинка с этим туркой есть, и подпись под ним: «Турки валяются, как чурки».

Раздался чей-то тихий смех.

– А ты пойдешь их лечить?

– Кого?

– А вот этих самых, что теперь турки мучат.

– Да ты откуда знаешь это?

– У нас на селе учитель читал. Всей деревней мы слышали. Пойдешь? – настойчиво спрашивал тот же голосок...

– Нет, незачем мне. Кабы я лечить умела!

– А как же ты у нас, третье лето, по избам в холеру с Кузьминичной везде ходила с ящиком? Нет, ты ступай туда. Тебе и доехать можно: у вас лошади хорошие...

Я обернулся, и вдруг через две полосы от меня поднялась из ржи стройная фигура майорской дочери, а за ней повыскакивали из глубины колосьев и васильков белые и темно-русые головки деревенских девчаток;

кое-где в эти растрепанные головки всунуто было по цветку, на загорелых тельцах висели грязные рубашонки, прикрытые короткими сарафанами из синюхи.

Они побежали вслед за майорской дочерью, которая стала подниматься на косогор. Несколько приостановившись, она обернулась назад и равнодушно оглянула меня; ее стройный стан, в белом ситцевом платье, отчетливо обрисовался в слабевших лучах заходящего солнца, лицо носило выражение какого-то непонятного смущения, но было до того строго, что невозможно было предположить, что она только что рассказывала сон, как качали ее хлебные волны. Это была опять та резкая, грубоватая девушка, манеры которой так возмущали, нервы Лизаветы Николаевны. Она приставила руку зонтиком к глазам, взглянула по направлению к лесу, к которому плавно катилось солнце, затем надвинула низко на лоб угол ситцевого платка, которым были прикрыты слегка ее волосы, повернулась и скорой походкой пошла с девочками по задам морозовской усадьбы.

Скоро все они скрылись. Я пошел вслед за

ними. Взявшись снова на кособок, я увидел, как вся группа уже спустилась и, рассыпавшись, занялась срыванием цветов. Девчата постоянно кричали что-то «барышне», подбегая к ней с новыми цветами; она, казалось, отбирала подходящие и связывала в букет. Минут через десять вся группа, перейдя луг, направилась к концу села. Я более кратчайшим путем пошел им навстречу и увидел снова, когда они выходили из-за задворок последней избы. Несколько в стороне от села, совершенно скрываясь в глуши придорожных деревьев, стояла дряхлая, полуразвалившаяся изба. По некоторым еще уцелевшим на ней признакам можно было догадываться, что здесь был прежде кабак, называвшийся в старину «притынный»... Группа оригинальных существ, за которою я так пристально следил, приблизилась к этому домику... Старый, поседевший пес, с вылинялой по бокам шерстью, бросился было с хриплым лаем с заваляни, но тотчас завертел хвостом и, тоскливо замурлыкав, улегся опять у крыльца. Очевидно, пришедшие были ему знакомы, и он имел уже случай неоднократно убеждаться в

их благонадежности.

Одно из маленьких лиц группы быстро забралось на завальню, перевесилось внутрь окна, оглядывая внутренность избы, и, наконец, крикнуло, обращаясь к майорской дочери и показывая взятый с окна стакан с засохшим букетом:

– Вона – повяли! Совсем! А самого-то нету. И халат на полу валяется.

Майорская дочь подошла к окну, взяла из рук девочки стакан, выбросила завянувшие цветы, заменила их новыми и снова поставила стакан на окно. Вся группа повернула было обратно, как вдруг откуда-то вышла им навстречу низенькая старушка, в темном кубовом платье[7], повязанная шалью.

– Ах, милая барышня, опять это вы цветочков принесли! Все вы моего Ванюшку-то утешаете! – заговорила старуха, ища торопливо в юбке своего платья карман с носовым платком. – Как же мне благодарить-то вас, дорогая моя? Все нами брезгают, все нами... Позвольте хоть ручку у вас поцеловать! – перебила свою речь старушка, найдя наконец платок и вытирая себе губы...

– Полноте, что вы? – вся вспыхнув и пряча руки, сказала майорская дочь. – За такие пустяки!..

– Нет, не пустяки это, дорогая барышня. Цветы-то эти для моего Ванечки, может быть, золота дороже.

И старушка заплакала.

– Что вы плачете? Вашим сыном вам бы не нарадоваться! Не всем такое счастье!

– Счастье!.. Дорогая моя, мне-то счастье, такое счастье, что и недостойна я, кажись... Да ему-то счастье ли? Ведь молодой еще он у меня, ведь любить тоже хочет. А кто его когда любил? Какая ему девушка бросила хоть словечко ласковое? А кто виноват? Ведь я все виновата, что его таким родила! Я, окаянная, должно быть, согрешила пред господом, что он, батюшка, попустил еще во чреве моем испортить его образ ангельский...

– Ну, что же делать... Зато он умница у вас. И сердце у него такое, что поискать надо!

– Умник он, дорогая моя! Да ведь с умом-то... разве ум нужен для любви?

Старушка печально покачала головой.

– Да что он у вас дичится всех?.. Ну, со

мной бы поговорил... Если он уважает меня, то ему нечего скрываться, нечего думать, что я насмеюсь над ним. Вы скажите ему...

Она протянула старушке свою здоровую, сильную, загорелую руку и крепко пожала сухие, костлявые ее пальцы.

А в это время я заметил, как сам «Ванюшка» с ружьем приближался к дому и вдруг, как заколдованный, остановился за деревьями и смотрел на происходившую у его ворот сцену.

– А вот он, дохтур-то! – крикнули девчата, заметив его сквозь деревья.

Все обернулись в ту сторону, но уже никого не было. В необычайном смущении и волнении, «Ванюшка» бросился к плетню сада и, разломав его, пропал среди густых деревьев.

Майорская дочь весело улыбнулась старушке и, еще пожав ее руку, быстро пошла по дороге от села к «своей усадьбе».

«Неужели она полюбила этого „доктора Ванюшку“, это странное существо, которому не улыбнулось приветливо ни одно женское лицо?» – подумал я. Я знал «Ванюшку» по ходившим о нем странным рассказам среди московской молодежи и врачей. Пред мной теперь вдруг ясно и ярко встала его фигура, маленькая, но крепкая и мускулистая, широкая в плечах, приземистая, что называется «башкирская», на тоненьких, но крепких и сильных ножках; несоразмерно огромная голова с сильно развитою затылочною частью, отчего она казалась двойной, сидела на короткой шее; монгольский тип во всем давал себя знать – и в маленьких глазках среди широкого лица, и в больших бровях, сходявшихся над широким приплюснутым носом, и в больших скулах с выдающейся нижней частью лица, едва прикрываемой жидкими волосами бородки. Его рождение совершилось при обстоятельствах, довольно романтических, как бы в насмешку над всей последующей его судьбой. Его мать, страстная восемнадцатилетняя

летняя девушка, единственная дочь богатого помещика волжской палестины, воспитанная среди уединения дико-однообразной природы на рыцарских романах, которыми зачитывалась до умоисступления, влюбилась в одного «удалого молодца» из кочевой вольницы, предводителя шайки башкиров, рыскавшей в окрестных местах. Ее увлекла страсть и романтический ужас такой любви. В глухую ночь, когда ее отец играл в вист на дворянских выборах в ближайшем городишке, она в лесу обнимала дикого сына степей: здесь начала она Ванюшку. Пролетели месяцы, возвратился отец, пропал из виду «удалой молодец» с своей шайкой, и бедная девушка осталась одна с тайной думой о маленьком существе, развивавшемся под ее сердцем. Она с ужасом видела, что обыденная жизнь не укладывалась в романтические рамки, что за мгновение этого романтизма приходилось так или иначе платить. Неизвестно, что было бы с нею: может быть, она так же романтично погибла бы в одном из прудов своей усадьбы, если бы, наконец, рано или поздно, отец заметил ее беременность, но, на ее счастье, в

это время влюбился в нее уездный лекарь, только что вышедший в отставку из полка, уже немолодой человек, любивший выпить и поиграть в картишки. Он сделал ей предложение, а она, не долго думая, приняла его. Через пять месяцев после свадьбы родился Ванюшка. Уездный лекарь сначала было зашумел и даже, по-военному, переломил о стену чубук и разбил трубку, но тотчас же смирился, сообразив, что все-таки очень приятно пить с тестем наливки и играть в пикет, имея в виду, что жена – единственная его наследница. Тем не менее больной, уродливый Ванюшка был в совершенном загоне; он не интересовался им, не любил говорить о нем, мать никогда не показывала его мужу, но зато сама отдала сыну всю душу и, как часто случается с романтическими натурами, предалась религиозному созерцанию. Через год родился еще сын – баловень отца. Отец сам воспитывал его, лелеял, баловал. Ванюшка никогда не сходил с своим братом, а если это случалось, то его били. Наконец отец с нетерпением стал дожидаться, когда ему можно будет «убрать» от себя куда-нибудь Ва-

нюшку; едва минуло ему семь лет, как он тотчас же увез его в город и отдал на попечение дьякона, с тем чтобы тот пристроил его в бурсу. Отставной лекарь не хотел отдать его в гимназию, где должен был учиться его собственный сын. Восьми лет Ванюшка был «пристроен» в бурсу под фамилией Башкирова, которую придумал для него уездный лекарь. Понятно, чем стала для маленького Башкирова эта ужасная русская школа – для него, забитого, смиренного, уродливого мальчика, лишенного ласки отца и матери. «Двухэтажная башка» – вот прозвище, которое носил он в продолжение двенадцати лет. Насмешки, щипки, тумак, порка сделались неизбежными элементами его воспитания. Но чем больше они сыпались на него, тем он становился более и более хладнокровным к ним. Они как будто теряли для него всякое значение. Помогали ли этому его крепкая физическая натура или сила его характера, но только равнодушие к врагам и какое-то безусловное всепрощение постоянно царили в его душе. Очень могло быть, что его забили бы совсем, если бы его не вывозила громад-

ная, удивительная память, помогавшая ему избегать половину тех пороков, которые переносили его товарищи. Сидя на постели и выделявая какое-нибудь украшение для своего единственного друга и любимца, дьяконского козла, он протяжным и ленивым голосом «покорнейше просил» зубрившего урок товарища прочесть ему вслух повнятнее. Товарищ читал, а Ванюшка говорил: «Будет» – и отправлялся к козлу. А на следующий день отвечал урок буква в букву. Учителя дивились; им даже было досадно, что нельзя было выпороть Ванюшку за незнание урока. Но зато находили случай пороть его по другому поводу. Он был сделан аудитором – и вот в этой-то должности не мог устоять от искушения ставить своим «слушанникам» самые похвальные баллы. Приходил учитель, вызывал ученика – тот ни в зуб толкнуть. «Аудитор – сюда! – Ванюшка вылезает из-за парты. – Пороть!» Ванюшку порют, а на следующий день опять Ванюшка поощряет своих слушанников отличными отметками. Кончил Ванюшка наконец курс удивительной школы, поставившейся стереть с его типической физионо-

мии почти все, что оставил ему в наследство «дикий сын степей». В это время был вызов в университет. Несколько его однокашников собирались в Москву и, подсмеиваясь, приглашали его прогуляться вместе с ними. Они подсмеивались, ибо чистосердечно не могли ожидать от него такой «прыти» и столько нравственной энергии. В особенности они не могли представить его занимающимся «новыми языками». Действительно, последних боялся и сам Ванюшка. Но как-то раз полубо-пытствовал он посмотреть книжку Марго. Прочитал первую страницу лексикона – и выучил, прочитал вторую, проверил себя, перегнул пополам страничку – знает. Он решился, и через две недели весь лексикон при этой книжке знал наизусть. В Москву он отправился в качестве не то товарища, не то лакея при одном из своих однокурсников, сыне благо-чинного, который постоянно читал ему на-ставительным тоном какие-то рассуждения о примирении науки с религией. Ванюшка за это чистил ему сапоги, бегал за вином в ла-вочку. Так прибыл он в Москву и поступил в студенты. Чем он жил, было совершенно

неизвестно. Таскался по плотничным и малярным артелям, писал мужикам прошения, ночевал у них, и никогда никто не слышал от него ни одной жалобы, несмотря на то что он очень часто ел только кусок черного хлеба с квасом. Ни у кого он и не просил ничего. Запуганный, робкий, неловкий, привыкший преувеличивать свою физическую уродливость, с которою, как ему думалось, нельзя было появиться в люди, чтобы не произвести смеха, он редко посещал лекции (за исключением анатомического театра), еще реже бывал у товарищей. Но к экзамену всегда являлся и сдавал его хорошо. Громадная память и здесь выручала его. Но эта же память приучила его отчасти к умственной лени: слишком уже легко ему давалось все. Каждая книга, которую он прочитывал, целиком укладывалась в его голове. Читал он немало, и так как прочитанное не улетучивалось у него, то «двухэтажная башка» его представляла собою какой-то чудовищный архив, в котором он, впрочем, не оказывал никакого желания разбираться. Обладающие огч ромной памятью обыкновенно бывают слабы в анализе и обоб-

щениях: их будто гнетет избыток знания. Да, Ванюшка и любил больше жизнь, чем отвлечение. С четвертого курса он уже имел случай прямо прилагать свое знание. Постоянно толкаясь и живя в подвалах, он неустанно лечил массу люда: швеек, прачек, плотников, столяров, фабричных; ставил им горчичники, прописывал слабительные, крепительные, вырезал чирьи, опухоли, вправлял вывихи. В это же время случилась с ним одна из тех неизбежных историй, которым платит дань каждый из юношей. Зашел он как-то раз к одному из приятелей, и тот представил его своей сестре. Ванюшка в нее влюбился. Это заметили. Но Ванюшка любил по-своему: он никому об этом не заикался, даже боялся заикнуться самому себе. Мысль о взаимности он гнал из своей головы, как что-то химерическое. Чем выше, чем красивее, чем милее представлял он себе предмет своей страсти, тем невозможнее считал он мысль о взаимности. Так любил он, долго и молча, все сильнее и сильнее, но зато и сосредоточеннее. Единственным утешением его было взглянуть хоть раз в день на предмет своего обожания. Он приду-

мывал всякие предлоги, чтобы заходить ежедневно к приятелю, и это, конечно, скоро сделало его мишенью для веселых насмешек. Неизвестно, знала ли девушка об его любви, но только она никогда не сходилась с ним и через несколько времени вышла замуж. Долго ходил по этому поводу между товарищами следующий смешной анекдот. Говорят, что в день ее свадьбы кто-то зашел к Ванюшке в то время, как он только что стал надевать брюки и уже успел натянуть одну штанину. (Он одевался, как и все вообще делал, медленно и обстоятельно.) В эту минуту его товарищ сообщил ему, что сегодня свадьба его возлюбленной. Ванюшку как будто ударили оглоблей по голове. Он до того опешил, что товарищ испугался и ушел от него. Ванюшка не сказал ни слова: он долго смотрел в стену, потом поднялся и, не замечая, что все еще в одной штанине, поддерживая другую рукой, стал ходить из угла в угол комнаты. Так проходил он весь день, и этим разрешился вопрос его любви. С этих пор он еще дальше ушел от образованного общества и, наконец, мало-помалу потерял даже всякую нравствен-

ную связь с ним. В обществе сначала считали его оригиналом, потом стали называть полумным. И вот в то время как ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиниках, он вдруг все бросил и ушел в подвалы, в которых в то время свирепствовал тиф. Наконец на него махнули рукой. Он в представлении общества стал тем же, чем обыкновенные юродивые, бог знает по каким побуждениям расхаживающие босиком, с открытой грудью и головой в лютые русские зимы, «когда так легко простудиться». Но общество ошибалось; в натуре Ванюшки, к удивлению всех, лежала сосредоточенная, могучая нравственная сила, очень часто доходящая в подобных личностях до неимоверного упрямства, как следствие затаенной гордости. Но кто же мог предполагать, что у Ванюшки есть «принципы»? А между тем он, когда ему предлагали стипендию, отказался и никогда не получал ее. Оказалось, что Ванюшка дорожит своей независимостью. Это стоило ему очень дорого, но он пробился все пять лет на своем «коште», а стипендии так и не взял. Что у него были «принципы», об этом

без смеха не могли бы и говорить его товарищи. Они его считали «осиной», «деревом» и крестили его этими именами, когда он равнодушно и лениво слушал их горячие споры о «народе», о «язвах», о различных «измах» и пр. А между тем, если у него и не было цельного мирозерцания, по неумению его, вследствие умственной лени, предаваться спекулятивным упражнениям, то было много кое-каких оригинальных «основных положений», «устоев». У человека непосредственной жизни всегда есть эти устои, заменяющие цельное мирозерцание; на этих устоях держится, бессознательно для него, все его нравственное здание, хотя они стоят у него одиноко и, по-видимому, ничем один с другим не связаны. Такие устои в особенности очевидны в народе. Какого рода они были у Ванюшки, мы для примера приведем следующий разговор.

Молодые товарищи его знали, конечно, что Ванюшка хорошо был знаком с простым народом, так как постоянно толкался среди него. Они это знали, но считали его совершенно неспособным и не желающим воспользо-

ваться своим знанием, как могли бы воспользоваться они. По этому обстоятельству они часто предавались соболезнаванию. Некоторым приходила в голову мысль эксплуатировать его практические знания в этой области. Так, однажды пришел к нему один из самых рьяных его товарищей по части разных «общих вопросов». Ванюшка в то время жил в плотничьей артели, занимая на день все ее помещение, так как днем рабочих никого не было.

– Скажи, Башкиров, – заговорил приятель, – ты хорошо ведь знаешь простой народ?

– Чаво я знаю? Знаю я Петра да Сидора. Вот чаво я знаю! (Нужно заметить, что Ванюшка говорил почти невозможным для порядочного общества языком: это была смесь семинарского жаргона с мужицким; да кроме того, он говорил протяжно, лениво ворочая языком.)

– Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучил же ты? Вот они с тобой сходятся, тебе доверяют. Ты, значит, знаешь, чем можно добиться их доверенности, чем разрушить ту стену недоверия, которая существует между нами и

ими?

– Знаю, – протянул Ванюшка, хитро улыбувшись.

– В чем же, в чем штука-то? – вскрикнул обрадовавшийся юноша. – Трудно?

– Нет, ничего... легко!

– Легко?

– Не сумлявайся... легко...

– Ну, так в чем же штука-то?

– Штука-то?.. Быть несчастным!

Приятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка стал хладнокровно переобувать сапоги и молчал.

Такого же характера были и другие его «устои». Как человек, живущий постоянно настоящей, реальной жизнью, он решал все сложные вопросы конкретно, а не в отвлечении. Нашелся у него один пациент из мастеровых, парень лет двадцати пяти, больной и хилый, вздумавший, кроме того, тосковать еще от любви.

– Мне, – говорит, – жениться очень нужно... Вот главная суть в чем!.. – объяснял он Ванюшке.

– Так чаво ж тебе – женись!

– Жену прокормить нечем. Вот такая линия!.. Сам я хилый, а она того хуже. У меня и на свадьбу-то гроша нет.

Перед Ванюшкой сейчас же стал средний человек, человек, так сказать, «гигиенический», который в лекциях медицинских фигурирует да в популярных гигиенах; явились у него в голове теория Мальтуса, и наследственность, и расположение нищих, и ответственность пред потомством. Ванюшка покрутил головой и затем плюнул.

– Ты, парень, лучше женись, пока не умерли вы оба. Женишься – умрешь и не женишься – умрешь. А все ж испробуете, что за штука любовь-то... Тоже ведь вашему брату счастье-то не вчастую... А на свадьбу я тебе денег принесу заимообразно... чтоб тебе это было не в огорчение!

«Потомство!.. Вишь что выдумали! Хитрые шельмы! Им это ничего... Говорят, имей в виду потомство! – твердил про себя Ванюшка и волновался. – А ты вот сними рубашку и отдай!»

По окончании курса Ванюшка остался в том же положении, в каком был и студентом.

Года через два он вздумал было защищать диссертацию, да, как мы видели, самым легковверным образом не явился в назначенный день на защиту. Назначили другой срок, но едва он явился на кафедру, едва увидал перед собой группу растолстелых и вылощенных джентльменов, которые уже приготовились броситься на свою жертву (а им действительно диссертация была не по душе, ибо доказывала положительный вред некоторых медицинских учреждений), едва завидел публику, собравшуюся глазеть на эту «диалектическую травлю», как вдруг необычайно смешался, сконфузился – и не «защитил», к удовольствию смеявшейся публики и гг. оппонентов.

Вскоре же после этого случилась с ним неприятная история, из-за которой пришлось ему возвратиться на родину. Семь лет не видал он своей матери и теперь застал ее уже худой, больной женщиной, живущей в келейке у одной крестьянской «начетчицы». Она молилась богу, ходя по церквам и монастырям, и жила тем, что читала по покойникам. Это не удивило Ванюшку, так как он знал, что всеобщее «разоренье» давно уже погребло в

своим бурным водоворотом и их «дворянское гнездо». Отец его промотал половину имения еще прежде, чем получились выкупные свидетельства, а его брат покончил с ними, спустив все до нитки. В одно утро мать, давно уже погрузившаяся в религиозный пиетизм, к удивлению, но не к ужасу (ей было почти все равно), узнала, что их имение перешло целиком к одному кулаку-купцу. С кое-какими деньжонками, оставшимися у нее от распродажи «родовой» рухляди, она перешла на житие к своей знакомой начетчице.

Ванюшка прожил некоторое время среди волжских мужиков, практикуя между ними и инородцами, и опять вернулся в столицу, взяв с собою мать. С этого времени он вел свою прежнюю жизнь и деятельность: зимой жил по подвалам и чердакам и практиковал там, а на лето уезжал куда-нибудь в деревню «проветриваться от миазмов», как говорил он. В деревне он что-то писал в серьезные медицинские журналы и изредка лечил мужиков. В это-то время мы и застаем у него майорскую дочь.

Знала ли эта серьезная девушка, кто был

Ванюшка? По незнанию ли его личности ухаживала она за ним или именно потому и ухаживала, что знала, кто он и что он? И почему все эти добрые люди – и майор, и Морозов, и Ванюшка – не находят между собою общей точки соприкосновения, общего пункта, где бы они могли сойтись? Я чувствовал, что здесь легла густая тень какого-то общего тяжелого недоразумения. Я почувствовал какую-то жгучую потребность во что бы то ни стало проникнуть в суть этого недоразумения, осветить для них тьму ее, в которой они тоскливо бродили, и разогнать эту тьму, чтобы свои увидели своих и подали друг другу руки.

Глава третья

Обитатели Майорской колонии

Наутро я шел к майору. Его усадьба, которую все величали «полубарским выселком», находилась верстах в трех от деревни, в которой жил я, и верстах в двух от Морозовых. Полубарский выселок представлял из себя нечто оригинальное: это была кучка плотных, здоровых, обыкновенных крестьянских изб, вытянувшихся на косогоре пред речкой; сзади эта кучка примыкала к садам, переходившим в березовую рощу, а пред нею стояли в одиночку службы: амбары, овины. Изб всего-навсего было четыре, из которых две – одна, напоминавшая собою маленькие, пятиконные домики уездных городов, а другая – просто крестьянская – принадлежали майору, прочие – его пайщикам: выселившемуся из села юркому мужичонке Чуйке, первейшему майорскому другу и слуге, привязавшемуся к нему, как собака, и вольноотпущенному дворовому человеку, старику камердинеру, боль-

шому философу и резонеру, вечно спорившему с майором и препиравшемуся с ним по поводу разных «господских» и «мужицких» вопросов... Эти три оригинальные хозяина-собственника выделились из общего сельско-господского строя и образовали собою, непостижимо каким образом, особую колонию еще в конце шестидесятых годов. Клочок земли, на которой они поселились, принадлежал майору. Майор предложил сначала поселиться Чуйке, а затем и Троше (так звали камердинера, хотя ему уже было лет под семьдесят; он был в свое время любимец одного богатого барина, и тот никогда не звал его иначе как нежным прозвищем «Троша», которое и утвердилось за ним навеки, несмотря на то что старик очень сердился, когда мужики называли его так). Они поселились, разделили землю на пай и завели общее хозяйство: сняли вместе у соседей-помещиков землю и стали пахать; скупали у крестьян скот и завели скотный двор. Первым воротилой во всей этой «хозяйственной обстановке» был Чуйка, которому майор, по романтичности, а Троша, по «господской апатии и лени», доверились

волей-неволей вполне. Была, впрочем, тут разница: майор доверялся вполне, беззаветно, хотя и следил сам за хозяйством или, по крайней мере, делал вид, что следил, ибо по живости своей натуры постоянно во все вникал, всегда шумел, всюду совался (на что Чуйка смотрел хитро-снисходительно и любовно), а Троша, напротив, постоянно ворчал, упрекал Чуйку за какие-то якобы «мазурнические дела», которые больше сочинял сам и которых в действительности не видал. Упрекал за всякое приобретение, какое Чуйка делал в своем личном хозяйстве: купит, например, Чуйка самовар, Троша уже направляется к майору и «конфиденциально» доносит, прося обратить внимание.

– Мне что! – говорил он при этом. – Мне не надо. Я это не по жадности какой вам докладываю, сударь... А только примечательно, что он очень уж юрок, очень в вашу доверенность вошел...

Натурально, майор при первом свидании передавал эти слова Чуйке, который волновался и шел сейчас же «требовать объяснений» от Троши. Троша был, однако, большой

руки трус и боялся настойчивого, крикливого характера Чуйки; он тотчас же начинал врать и отбоживаться, вздыхать о людской несправедливости и угощать Чуйку чаем, за которым убедительно доказывал, что майор – большой руки выдумщик и что он на него, Трошу, постоянно взводит напраслину. Чуйка успокаивался этими объяснениями – и все входило в обычную колею. Он продолжал действительно и неустанно блюсти общую хозяйственную обстановку, смотреть за рабочими, за скотом, ездить и маклачить на базарах; Троша по-прежнему продолжал ходить лениво из сарая в сарай, в барском пальмерстоне [8] и вытертой бобровой фуражке, понюхивать табак и, ворча, сидеть на лавочке около своей «горницы», как звал он свою избу; а майор постоянно странствовал и «вел баталию» на земских собраниях, у мировых судей, на волостных сходах, в присутствиях по крестьянским делам и даже в окружном суде. Это была чрезвычайно живучая и подвижная натура. Несмотря на свои шестьдесят лет, на седые волосы, на разбитые ревматизмом и болью, от засевшей в правой ляжке пули, ноги,

он не знал устали и постоянно кипятился, кричал с мужиками, кричал с господами – и только выпивал стакан за стаканом воду да вытирал красное от волнения лицо большим ситцевым платком. Между натурой Чуйки и майора было много общего, и это-то, вероятно, и свело их.

Таковы были обитатели «полубарской усадьбы», этой своеобразной колонии, таковы были их отношения Друг к другу. Все это, понятно, я узнал не вдруг.

Я подходил к усадьбе в то время, когда уже у «господского дома» (майорский дом звали «господским») стояла кучка мужиков, из которых одни были дальние, другие – вчерашние знакомцы, говорившие с Морозовым. Последние, как люди «свои», развязно сидели на крылечке, а первые недоверчиво и боязливо слушали Чуйку, который, не видя меня, горячо разговаривал с ними. Так как видимо было, что майора нет еще дома, то я приостановился, облокотившись на решетку палисада, и стал вслушиваться.

– Милый барин – они-с, господин майор, – говорил Чуйка, – вы не опасайтесь, мы с гос-

подином майором давно уже по крестьянским правам состоим...

– Разберет вас тут леший, прости, господи! – проворчал один угрюмый мужик, видимо раздраженный трескотней Чуйки и уверенный, что он только среди «своих». – Все вы нынче насчет этих правое разъезжаете...

– А вы чьи? – спросили пришлые мужики Чуйку.

– Мы? Ихние-с были, майорские. А теперича они с нами поселились на равных правах...

– На каких на равных?

– На всяких, на крестьянских... Нда-с!

– Да он барин, что ли?.. Али так... из кантонистов[9]? – полюбопытствовали пришлые.

– Барин!.. Знамо, барин, – улыбнулись на недогадливость пришлых «свойские» мужики.

– Барин! – каким-то своеобразным тоном прокричал Чуйка. – Они майор, и ничего больше!..

– Так как же это он, почтенный, в монахи затесался? – интересовался один из пришлых.

– В монахи! Опять тут пустое слово, – как будто вконец обидевшись на несообразитель-

ность пришлых мужиков, сердито проворчал Чуйка. – В миру они, в безбрачии, пятьдесят лет жизни произошли... Двадцать лет тому назад, как они, господин майор, изволили свою вотчину, после покойников родителей своих, на волю отпустить, тут они и на безбрачие пообещались... Н-да!.. До всемилостивейшего манифеста изволили в этом обете пребывать, а девятнадцатого февраля, в незабвенный день, явились к нашему батюшке. «Соблаговолите, – говорит, – батюшка, теперича с меня безбрачие снять и обвенчать на вдове – крестьянке Василисе Ивановой». А теперь они во вдовстве, при дочке, божиею милостью.

– А вы при нем как состоите?..

– Мы у них по конторской части. Ну и в то ж время вместе землю поднимаем. Коммерцию ведем скотинкой... Мы на паях. А впрочем, – прибавил Чуйка, поправив фуражку, – обождите. Они сейчас будут и все вам скажут, что ежели можем.

– Да вы, почтенный, с майором-то аблака-ты, что ли, будете?

– Аблакаты? Нет, не выйдет так, – подумав-

ши что-то, отвечал Чуйка, – мы только единственно... И по судам ходим, но только не в том виде... Вы вот господина майора спросите. Они всякую, например, фальшь очень чудесно видят... Например, по земству, даже очень их эти земцы не любят! Обождите! – предложил Чуйка, заключив рекомендацию своего первейшего приятеля, пайщика и патрона, старого майора, репутацией которого он дорожил больше всего на свете и не упускал случая выставить личность старика в наивыгоднейшем свете, не пренебрегая даже, как заметно, украшениями из области своей личной фантазии.

Чуйка приставил козырьком руку к глазам, посмотрел по направлению пыльной дороги, затем моментально юркнул в один сарай, потом в другой, подбежал к амбару, освидетельствовал засов, притворил калитку дома, погладил мимоходом лежавшего пса, тут же кстати успел подразнить обидчивого индюка и, наконец, вновь посмотрел из-под ладони на дорогу.

– А вот и они-с, господин майор!

Чуйка еще раз показал фуражкой по на-

правлению к ехавшему вдали экипажу и бросился отворять ворота сарая. Через несколько минут въехал в проселок знакомый майорский экипаж, плетушка из обыкновенных ивовых прутьев, поставленная на легкие дроги; в плетушке сидел майор и осторожно и внимательно правил здоровой, коренастой лошадью. Едва лошадь остановилась у сарая, Чуйка обязательно высадил майора, поддерживая его под руки, и затем ввел лошадь в сарай. Майор, в старом военном плаще и фуражке, храбро постукивая своими плисовыми сапожками и грозно-добродушно поглядывая из-под нависших седых бровей серыми, бесцветными глазами на стоявших у крыльца мужиков, подошел к ним и крикнул свое обычное военное приветствие: «Здорово, ребята!»

– Здравия желаем, ваше сиятельство! – ответили, ухмыляясь в широкие бороды, «свои-ские мужики».

– Зачем майор нужен, молодцы? – спросил он, обращаясь к пришлым.

– Да мы вот, ваше сиятельство, как, значит, наслышаны об вашей милости...

– Ладно, ладно! Знаю, что наслышаны...
Про майора худо не говорят... Об земле?

– Так точно. Об чем больше, как не об ней.
Мужики все враз что-то заговорили, стараясь возможно почтительнее и определеннее объяснить майору свое дело.

– Смирно! – крикнул вдруг майор командирским голосом. – Слушать команды! Объясняй, когда команда будет! Отойди к стороне!

Пришлые мужики совершенно растерялись при таком обороте дела и поспешили сбиться в кучу за крыльцом.

В это время подошел я.

– Что вы все воюете в мирное время? – шутя спросил я его.

– А! Здравствуйте!.. Иначе нельзя-с: форма и дисциплина, батюшка, давали направление великим событиям. Не будь их, был бы хаос... и я бы, ничего не мог сделать, если б не придерживался этого принципа... Вам что? – обратился он к «своим».

– Мы, ваше сиятельство, по команде, – снова улыбаясь в бороды, отвечали они.

– Ермил Петров, доложи!

– Мы, ваше сиятельство, как значится, – на-

чал тяжелой поступью свою речь Ермил Петров, – как мы изволили вам тогда докладывать, выходит, что ежели касательно...

– У Морозова были?

– Это, значит, у Петра Петровича Малова?

– Ну, да.

– Были-с... Ну, только упирается, послал к вашей милости... говорит, что эти дела ему не под стать, а вашей милости в самый раз.

– «Нашей милости!» Белоручки! Ученые! – выкрикивал майор. – Нашей милости – мужицкие бороды, а им – великие дела! Наполеоны! Ступайте к ним! – крикнул майор, сверкая глазами и теребя седой ус. – Налево кругом, марш!

– Ваше сиятельство! – загалдели мужики. – Это вам Ермил сглупа наговорил! А вы извольте, ваше сиятельство, прислушать...

– Слушать команду! – крикнул майор. – Отойди к стороне!

Мужики отошли. Молчание.

– Прошу вас в мои апартаменты, – пригласил меня майор, показывая рукою на дверь.

Я пошел, но, обернувшись, заметил, как майор вдруг почти сбежал с крыльца к мужи-

кам и заговорил с самой плачевной миной:

– Голубчики! Подождите! Устал я, ей-богу, устал... Поверите ли, во рту пересохло. Я только позавтракаю, рюмочку-другую пропущу... А вы присядьте!

Я вошел в переднюю и услышал за дверью голоса в соседней комнате. Я прислушался.

– «Блажении алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся», – истово выговаривая каждый слог и скандуя, читал кто-то старческим, шепелявым, но еще внятным голосом.

– А каким образом они, Кузьминишна, насытятся? – расслышал я голос майорской дочери. – Как ты думаешь, что, по-твоему, должно разуместь под словом «насытятся»? Будут блаженствовать? Да?..

– Умрут, Катюшенька. Умрут за ближних. И Христос, господь наш, спаситель, душу свою положил за овцы, и все, кто искал правды... Все насытились. Сколько было подвижников, мучеников, рыцарей храбрых и благородных, воинов и проповедников – все легли за братии и насытились...

Мне не хотелось прерывать разговора, но опасение быть обвиненным в подслушива-

нии заставило меня взяться за ручку двери. Я вошел. В маленькой, уютной и замечательно чистой гостиной с бледно-голубыми обоями, по бокам стола, стоявшего в простенке между окнами, сидели две собеседницы: майорская дочь и какая-то старушка, лицо которой я не успел еще рассмотреть. Катерина Егоровна (так величали дочку майора) сидела, наклонившись над шитьем; ее белое, почти матовое, но с здоровым румянцем лицо резко выделялось из полупрозрачной тени на бледно-зеленом фоне от листьев, которыми было сплошь застлано все окно. Старушка сидела против нее с чулком в руках и смотрела сквозь большие оловянные очки, державшиеся на толстых шнурках, на разложенную перед нею книгу.

На мой поклон Катерина Егоровна медленно подняла голову и слегка кивнула ею, в то время как по лицу ее пробежала какая-то тень, а старушка, снимая очки и не вставая, несколько раз мотнула мне седою головой.

– Майор все у вас воует, все практикует, по привычке, старые военные приемы, – проговорил я, чувствуя, что говорю пошлость, и

только думая о том, что надо же что-нибудь сказать.

– Да... он иногда любит шутить, – лениво ответила Катя, очевидно, все еще не выходя из-под влияния какой-то идеи, каких-то образов, которые овладели ее мыслью.

Я не стал ей мешать больше разделяться с ними, как она хочет, и внимательно стал вглядываться в оригинальную старушку, так поразившую меня своей философией. Я смотрел в ее серые, бесцветные, но еще бойкие и выразительные глаза, на ее вытянувшийся длинный худой нос, на выдавшийся совсем лопаточкой, которою можно было с большим удобством заменить табакерку, насыпав на нее щепоть табаку, дрожащий нервно подбородок, с несколькими длинными седыми волосами, на всю ее длинную, костлявую фигурку, – и вдруг меня охватило какое-то далекое, неопределенное воспоминание. Чей-то знакомый, дорогой образ мелькнул раз, другой, третий в моем воображении, и моментально предо мной пронеслось все мое детство: знакомый образ был уловлен, весь, целиком, ясно, рельефно и определенно. Да, это была

Кузьминишна, это была моя «старая нянька» (так звали ее, в отличие от молодых), пестун моих младенческих лет, моего юного ума, воображения и фантазии... И она еще все жива!

– Кузьминишна... няня, это ты? – вскрикнул я, сияя всем существом своим.

Старушка вздрогнула, замигала усиленно губами и задергала подбородком, потом наскоро протерла слезившиеся глаза, затем опять замигала, всматриваясь в меня.

– Николушка! Так, так... ты! Ну, устарела я... Кончен путь живота моего! – проговорила она строго.

– Стали у тебя глаза уж слабы, няня. На тебе чего взыскивать! А вот я и молод, да тебя не узнал.

– Нет, нет, не говори, глаза тут ни при чем. Сердце провещать перестало. Чутье пропало, сердце-вещун холодеет. Охолодало... Пришел конец пути живота моего! – повторила она еще раз. – Уж это верно: сердце охолодеет если, – умер тогда человек, тогда уж он не от жизни... На свете жить без сердца нельзя, – продолжала она резонировать и потом вдруг переменила тон: – Ну-кося, ну-кося! Ах, я глу-

пая! Не признала! А ведь я его, Катюшенька, до девятого годочка выхаживала, до тех самых пор, как в емназию увезли его. Да ты к чему это больной-то, родной мой?

– Пережил больше, чем нужно, няня, – вот в чем дело.

Она внимательно посмотрела мне в лицо, сжала сухие, тонкие губы и покачала в раздумье головой.

– Ты у меня люби его, – тихо, но строго приказала она Кате, которая улыбнулась, – у него сердце есть, хорошее сердце... Всем может человек перемениться, а сердцем нельзя... Сердце не вырвешь... Ну, чего там, старик-то твой нейдет? Пора бы и закусить. Вот погодите ж, коли так, я уж хоть этим заслужу!

Она зашумела в кармане ключами и, подмигнув мне, вышла.

Я еще никак не мог освободиться от всплывших в моей памяти картин детства. Я долго смотрел на дверь, в которую вышла старушка, и целиком погрузился в море воспоминаний, совершенно забыв о присутствии Кати.

* * *

Да, я как теперь вижу в моей детской эту старушку (она и тогда была уже, двадцать лет назад, такой же старушкой, или, по крайней мере, мне так казалось, что она нисколько не изменилась). Мы одни, сальная свеча горит, потрескивая, глухо постукивают ее спицы, и беззвучно шевелятся ее губы, считая петли; я всегда вслух с нею учил уроки: был ли то закон божий, или арифметика, или история, – я все читал ей вслух, и каждый урок раза по два, по три; она всегда слушала с неизменным любопытством, вниманием и серьезностью. Как теперь помню, меня чрезвычайно удивляло одно обстоятельство. Я еще не умел читать бойко, то есть не умел вперед отгадывать то выражение, которое должно следовать по смыслу речи, и потому часто, желая прочесть скорее, врал или заминался; в это время Кузьминишна всегда поправляла меня или подсказывала «наизусть», не глядя в книгу. Помню, с каким удивлением, смешанным с уважением, смотрел я в ее строгое лицо, обращенное к чулку, и долго не в состоянии был продолжать. «Ты чего же, Николушка, остановился?» – спрашивала она меня. «Да я,

няня, думаю: как ты это так, не учившись, отгадывать умеешь?» – «А ты думал, что вы только одни умны, что уж простые люди и разумения не имеют?.. Нет, Колушка, разумом бог никого не обидел...» Но я все же сомневался, чтобы одним разумом можно было узнать всякие там Гвардафуи да Гибралтары, и полагал, что она непременно когда-нибудь географию Ободовского изучала. Так я и не мог постигнуть ее умения отгадывать вперед географические названия, пока не догадался, что уроки-то я с ней вместе учил и перечитывал одно и то же несколько раз вслух.

Помню я и то время, когда, сложив книги, помолившись, ложился я спать, а она садилась на край моей кровати и начинала мне рассказывать. Замечательно, что в ее рассказах всегда отсутствовал «чудовищный и бесовский» элемент; в ее рассказах никогда не встречалось, как это бывает у всех других, ни бабы-яги, ни «кипят котлы кипучие, точат ножи булатные», ни чудовищ с песьими головами, напротив: все ее рассказы больше воспевали геройские или, по крайней мере, генеральские подвиги Кутузовых, Суворовых, да-

же рыцарей-крестоносцев, английских королей и проч. Или подвиги мученичества и добрых дел из Четьи-Миней[10]. Конечно, это объясняется тем, что она была грамотна и в свободное время читала жития святых, а в молодости ей, кажется, попадали в руки «батальные» сочинения и даже рыцарские романы. Один рассказ ее поразил меня впоследствии удивительным сходством с романом Вальтера Скотта «Айвенго». Она была старая крепостная девка, но из хорошего, образованного помещичьего дома, и жила сначала в горничных при барышне, жившей со стариком отцом, кончавшим свой век среди уединения деревни и своей библиотеки, по независящим от него обстоятельствам, затем была после ключницей. Барышня читала вслух с нею все книги из библиотеки отца и сама выучила ее грамоте. Старик отец обращался хорошо с своими крепостными, а бывшие у него знакомые нисколько не шокировались тем, что его дочь читала книжки с крепостной горничной, и даже иногда заговаривали при последней «о материях важных». Все это имело на ее характер значительное влияние. Ее

миросозерцание далеко хватало за пределы народных воззрений, а натура ее приобрела стойкость, развязность и удивительную безбоязненность. Замечательнее всего в ней было полное отсутствие холопства, даже самого невинного и добродушного... За смертью старого барина и отъездом за границу его дочери, она перебралась в город и через несколько лет попала в наше семейство. К кому она ни попадала, она тотчас же всех прибирала к рукам и начинала царствовать в доме. Но эта власть никогда никем особенно не чувствовалась. Так владычествовала она и над моими родителями, еще молодыми в то время людьми.

Наше семейство составляло одну из не особенно важных спиц обширнейшей чиновничьей общины. Кузьминишна и в этой общине успела составить себе репутацию «толковой девки» и пользовалась от нее если не уважением, то боязливо-сдержанным отношением. Последнее опять-таки внушала она к себе своей упорной настойчивостью и безбоязненностью. Она умела «резать правду-матку» в глаза всем чинам общины, которые хотя и с

усмешечкой, но тем не менее ежились под этой «правдой-маткой». Я никогда не забуду одного обстоятельства, которое резко характеризует настойчивость и безбоязненность, с которыми Кузьминишна преследовала свои цели. Аккуратно каждое первое число месяца, когда отец получал жалованье, она являлась к нему в кабинет, едва он возвращался домой со службы, и с смиренно-строгой решимостью на лице, сложив на груди руки, становилась в углу у дверей. Отец в это время всегда бывал крайне раздражителен и раздосадован всевозможными кредиторами, осаждающими обыкновенно в этот день чиновников, начиная от самых дверей места их служения вплоть до семейных очагов, не давая пропустить рюмку водки, съесть кусок пирога. Кузьминишна терпеливо выжидала всю эту стаю «хищников, архиплутов и архибестий», выслушивала брань и споры между ними и хозяевами, и когда наконец стая удалялась, а раздражение хозяина доходило до последней степени, она твердо выговаривала: «Пожалуйте жалованье!» Раздраженные супруги неистово набрасывались на нее, вконец огор-

ченные такой «мужицкой нечувствительностью», ставили ей на вид всю неделикатность ее отношения к семейству, в котором она жила столько лет, обвиняли ее за это даже в «неблагодарности». Но Кузьминишна упорно смотрела в угол, молча выслушивала все это и снова выговаривала: «Никак нельзя-с... пожалуйста жалованье!» – «Да ведь ни на что не нужно тебе его! ведь так же растрянжиришь деньги ребятишкам на пряники!.. Неужели чувства нет подождать немного?» – внушительно усовещевали ее отец и мать. «Никак невозможно, пожалуйста, что следует по уговору. В животе и смерти бог волен», – настойчиво твердила Кузьминишна, пока наконец рассерженный хозяин не бросал ей трехрублевую бумажку, посылая ее «ко всем чертям, чтоб и духу ее не пахло». Кузьминишна на это смиренно раскланивалась, благодарила за хлеб за соль и уходила связывать в узелок свои пожитки.

Детям это всегда нравилось, мы окружали ее, разбирая ее лоскутки, и только уже под конец, когда узнавали, в чем дело, – начинали реветь. Само собой разумеется, что все конча-

лось ничем. На ее жалованье в крутые времена покупались нам, «ребятишкам», лекарства, шились на именины рубашонки, штанишки, посылались с оказией в деревню какой-то Глашке гостинцы. А один раз с этим «жалованьем» случилась вот такая оказия. В одно прекрасное утро над нашей семьей разразилось несчастье: отцу отказали от места ввиду каких-то не совсем чистых побуждений со стороны начальника. Семья осталась ни при чем; в немногие месяцы было перезаложено все, что можно было заложить, и к тому времени как отец нашел какое-то ничтожное место, семье нечего было бы есть, если бы каждым ранним утром Кузьминишна не отправлялась на рынок и не приносила оттуда необходимое количество харчей. Ее трудовые деньги уходили быстро, и так же быстро возрастало ее негодование при виде некогда благоденствовавшей, а теперь голодавшей семьи. Наконец она решилась. Одним утром, приняв на себя личину смиренной просительницы, пробралась она в кабинет бывшего начальника отца и там, преобразившись в старую мегеру, «вырезала всю правду-матку»

ему в лицо, пока насильно не вытащили ее лакеи. Она этим не удовольствовалась и пошла с жалобой к «господину начальнику губернии» и грозила «идти дальше», если б не успокоили ее на съезде двора, где просидела она недели две. Из последнего она снова вернулась к нам в смиренном сознании совершенного долга.

Повторяю: все это – и картины детства, и типичный образ старухи няньки во всех деталях – пронеслось в моем воображении почти моментально и вызвало столько приятных ощущений, что мне вдруг захотелось поделиться ими с кем-нибудь, и я передал все вышеописанное майорской дочери. К моему удивлению, задумчивая, сосредоточенная Катя внезапно оживилась при моем рассказе; ее глаза весело заиграли, она постоянно перебивала меня торопливо и дополняла, как будто переживала вместе со мной одно и то же прошлое, и, наконец, сказала: «Да, все это было и в моем детстве. Впрочем, я прибавлю вам еще кое-что про Кузьминишну и про себя, если уже на то пошло».

Но я лучше начну новую главу и передам в

ней не только «кое-что», сообщенное мне Кате́й, но и все, что я узнал о майоре и его дочери.

Глава четвертая

История покаяния

Двадцать два года тому назад, на том месте, где стоял полубарский выселок, был лес, а позади этого леса, в расстоянии полуторы версты, стоял небольшой помещичий дом, довольно ветхий, весь заросший кругом старым, запущенным садом, сзади которого лепились убогие избы небольшой господской деревеньки. Лет пять, как уже этот барский дом был наглухо заперт, после смерти стариков, барина и барыни, умерших скоро один за другим и оставивших свою небольшую усадьбочку наследнику – сыну, дравшемуся в то время на Малаховом кургане. В ожидании приезда «молодого» барина старый дом оберегала семья дряхлого дворецкого, поселившаяся в людской. Вся эта стража состояла из старика отца – дворецкого, старухи матери – бывшей барской ключницы, молодой их семнадцатилетней дочери, Паши, юного племянника старика, сироты Кузи, да штук пяти старых псов, с которыми Кузя ходил на охоту.

Мирно управлял старый дворецкий именем молодого наследника и, верный слову, данному старику барину, честно блюл интересы барского имения. Кончилась война, приехал наследник, оказавшийся зрелым мужчиной, закопченным пороховым дымом и закаленным жизнью, как кажется, прожитой не без треволнений. Барин поселился в уединении старого дома и занялся охотой, кое-что починая по временам да балагурия по вечерам с семейством своего крепостного.

Он ничего не изменил в исконном обычном течении жизни в его поместье, разве только сократил кое-какие излишние повинности, установленные еще бог знает когда, вроде доставления на барский двор грибов и ягод. Он, казалось, не тосковал, был весел, выпивал со старым дворецким, навещал кое-кого из соседних помещиков и любезничал с своей крепостной девушкой Пашей. Как и следовало ожидать, эти любезности разыгрались в очень обыкновенную историю и могли бы кончиться тоже очень обыкновенно, если б молодой барин не был, во-первых, отчасти «тронут духом века», а во-вторых, не считался

«честным русским воином». Ввиду последних условий барская интрижка получила несколько иной, хотя и романичный, но тяжелый ход. Честный воин и вольтерьянец не имел ничего против брака с крепостной девкой и даже считал для себя это долгом, но старые традиции окружающей общественной жизни ставили для этого непроходимые преграды. Честный воин, добрый и любящий, храбрый и решительный на поле битвы с героями и слабый, нерешительный на поле брани с пигмеями мелочной жизни, сделался жертвою томительных душевных колебаний между долгом, совестью и сознанием просто человека и таковыми же, но уже окультивированными, в крепостнической среде. Эта томительная, душевная двойственность выразилась в нем еще более с беременностью Паши, но храбрый воин и тут не решался... И в то время пока старуха мать Паши бегала на поиски за повитухой, «честный воин» предавался скорбным думам о мрачном будущем нарождавшегося создания, и каялся, и оплевывал в душе свою нерешительность, свою косность, пока не донеслись до его слуха сло-

ва: «Ну, где у вас тут отец-то? Куда ты, батюшка, запропастился? На принимай: твоя дочь-то! Нечего отлынивать!» Эти слова поразили его своим необычным тоном, так как их произносила простая деревенская баба; пред ним стояла Кузьминишна, держа на руках крошечную Катю и поднося ее сконфузившемуся и растерявшемуся вольтерьянцу. Это событие как раз совпадало с тем временем, когда Кузьминишна, по устройстве благополучно дел в нашей семье, вдруг заскучала по деревне, по какой-то девушке Глашке, о которой она часто вздыхала, и ушла от нас, вопреки слезным упрасиваниям. Как кажется, она уже не нашла в живых ни прежней своей барыни, ни девушки Глашки и поселилась в одной из соседних деревень, в качестве лекарки и повитухи, где и нашла ее мать Паши. Вольтерьянец вдруг проникся к ней необыкновенным уважением, упросил ходить ее за больной Пашей и ребенком и, наконец, уговорил остаться совсем в его доме. Она легко согласилась и скоро беззаветно привязалась к новому семейству.

Подрастала Катя, дитя «случайной семьи»,

выздоровливала и вновь хворала ее мать; вольтерьянец-майор, ее отец, продолжал по-прежнему малодушествовать между двумя крайностями, любовью к своей семье и общественным мнением, между которыми он, для успокоения, проложил очень оригинальную тропинку, скроенную из кое-каких курьезных силлогизмов. Силлогизмы эти собственно были придуманы на случай столкновений с Кузьминишной, которая не оставляла майора в покое, забрав власть над его «барским домом».

Кузьминишна, вступив в этот дом, тотчас поставила себе очень определенную цель и стала преследовать ее безбоязненно и неуклонно. Прежде всего, она ходила за хворой Пашей и холила ее, как свою дочь, в воспоминании о какой-то таинственной «девушке Глашке», на которой почему-то были сосредоточены все струны ее сердца. Затем она всецело захватила в свои руки воспитание маленькой Кати и в этом воспитании думала «провести принцип». Она старалась до ничтожных мелочей окружить ее тою обстановкой барского аристократизма, которую пом-

нила со времен своей юности, пропитывала ее всеми воззрениями, какие успела удержать ее память от воспитания своей бывшей госпожи: главной ее целью было во что бы ни стало видеть в маленькой Кате заправскую барышню. В этом руководил ею тонкий политический расчет: этим путем она хотела нерешительного майора сбить на всех пунктах, постоянно, неуклонно, всякой мелочью давая ему знать, что Катя его – такая же дочь, какая была бы и от барского брака, и этим отрезывая ему всякое отступление. Может быть, в ней даже жила идея, – да и наверно жила, – что из мужички легко стать барыней, а из барыни мужичкой. Она практиковала эту идею на деле: заставила майора нанять старую гувернантку-немку, купить фортепиано, каждый месяц умела прогонять его в город за нарядами... Майор, добродушно посмеиваясь, исполнял все это, но венчаться все-таки не решался... «Ну, стой, окручу же я тебя, хромой черт!» – ворчала вслух Кузьминишна, а майор выпивал рюмку, набивал трубку и посмеивался в полуседые усы, слушая, как величала его Кузьминишна за дверью (он хромал от за-

севшей в ляжку пули, которая с годами сильно стала донимать его)...

Странные бывают случаи в жизни русского человека: иногда он выкидывает неожиданные штуки – то покажет пример неимоверной храбрости, когда был заведомо трус, то вдруг удивит всех грандиозным подвигом самопожертвования, когда был известен всем за «шишигу» и «пройдоху», то, всеми признанный за человека радикального, безбоязненного, упорного и настойчивого во всех чрезвычайных и важных обстоятельствах, вдруг окажется, что никак *не может* (ну, вот решительно *никак*) расстаться с кое-какими мелочами, маленькими предрассудками, несмотря на то что от них зависят многие важные обстоятельства. Таков был и майор. Охваченный движением, начавшимся вскоре после войны, он весь всецело предался крестьянскому делу: стал выписывать журналы – и вдруг отпустил своих крестьян на волю, когда сгорела их деревенька, и переселил их на новое место, в другом уезде. А между тем он все еще никак не решался стать пред алтарем с бывшею своею крестьянской девкой, в кото-

рой души не чаял, не мог признать свою дочь за дочь и вдруг вспыхивал весь как зарево, терялся, когда приезжал кто-нибудь из помещиков, и торопил гостя к себе в кабинет.

Кузьминишна при виде такого малодушия приходила в необычайное негодование. Она связывала свои узлы, входила в кабинет майора, показывая пальцем на образа, поражала его грозными речами и, наконец, просила расчета или, лучше сказать, не расчета, а просто отставки. За смертью таинственной «девушки Глаши», которая, как я узнал впоследствии, была единственным плодом увлечения ее юности, Кузьминишна отреклась окончательно от всякого корыстолюбия и предалась всей душой Кате, заглушив в себе все личные потребности. Майор спешил успокоить ее и пускал в ход силлогизмы, вроде тех, каковыми характеризовал его Чуйка, — плод его «глубоких соображений» и хитрых извивов ума, которым он предавался после каждого нападения Кузьминишны. Кузьминишна редко сдавалась на эти компромиссы, и тогда майор давал ей честное слово, что *скоро, очень скоро* он решится. Майор чего-то ждал,

ждал лихорадочно, как ждала тогда этого чего-то половина России... Наступил «незабвенный день» 19 февраля; майор пришел в какое-то странное, возбужденное состояние, оделся в полную майорскую форму и, как-то особенно многозначительно посмотрев на Кузьминишну, уехал к попу в ближайшее село.

Вскоре после манифеста была его свадьба. Кузьминишна успокоилась. Но как она горько разочаровалась бы, если б была наблюдательным психологом, если б могла заглянуть в душу майора, в душу каждого тогдашнего вольтерьянца. «И чего он, хромой черт, еще малодушествует!» – воскликнула бы она в отчаянии. А майор действительно опять малодуствовал, но заметила это, к несчастью, уже не Кузьминишна, а другое существо.

Пока росла Катя среди дикого однообразия своей уединенной усадьбы, пока крепили ее молодые физические силы и еще спал рефлектирующий ум, пока она довольствовалась лесными экскурсиями с Кузей, подвигами бесстрашия относительно волков и иных лесных чудовищ, все шло мирно и спокойно:

даже смерть матери, случившаяся на двенадцатом году жизни Кати, не произвела на нее никакого пробуждающего действия. Но вот наступил тот критический период, в который закладываются в душе человека первые «краеугольные камни» нравственного здания, те камни, которым уже нет разрушения, которыми обуславливается великая тайна будущего развития. Кузьминишна ждала давно этого дня, когда ее Кате стукнуло шестнадцать лет, и она давно уже готовила майора к этому дню. Давно ее настояниями все было припасено и приготовлено, чтобы достойно встретить этот день. Майор и здесь как-то стихийно подчинялся во всем Кузьминишне – и должен был решиться прожить зиму в губернском городе и показать людям свою Катю. Майор поехал.

Он, Катя и Кузьминишна – в маленьком домике губернского города. Декабрь. В городе особенное оживление по поводу дворянских выборов. Начались балы. На один из них должна была выехать в первый раз Катя. Накануне этого дня все взволнованы: и Катя, и майор, и сама Кузьминишна. Наконец, напут-

ствуемые благословением старухи, отец и дочь едут «в свет». Малодушные майора принимают все большие и большие размеры. Они в зале. Катя чувствует, как дрожит рука отца, как он вспыхивает при каждом нескромном вопросе, предлагаемом ему, как, наконец (все это она слышит), он малодушно отрекается от своей дочери, в необычайном волнении и смущении стоя пред одной сановитой особой, и называет ее своей «племянницей, дальней родней». Она в недоумении смотрит на новое для нее общество; ее гнетут любопытные взгляды барынь, рассматривающих ее как оригинальный монстр, и чутко слышатся ей фразы: «Дитя случайной семьи...», «Несчастный плод свободомыслия...» Вся – недоумение, вся – напряженная, сосредоточенная пытливость, вернулась она домой. Несколько раз, после бессонных ночей, хотела она спросить отца, спросить – что это значит; но майор, очевидно, избегал ее. Он стал пропадать по целым дням. Он ездил по всем дворянам, где чуял обед, и приезжал пьяным. Наконец она сказала: «Папа, я не хочу этой жизни... Уедем в деревню...» И, к удивлению Кузьми-

нишны, майор тотчас же нанял лошадей, и они вернулись в деревню.

Кузьминишна не узнавала своей резвой Кати. Катя «засолидничала», но так и следовало, по мнению Кузьминишны. Только она не понимала, почему отец избегал своей дочери. Увы! Она не постигала всей бездны его малодушия. Но ум Кати работал энергично, быстро. Нет больше леса, полей, лугов; не существует для нее уже Кузя; разрозненные книжки журналов заняли ее дни и ночи... С каким-то гнетущим страхом, смешанным с малодушным отчаянием, наблюдал майор резкий перелом, совершавшийся в его дочери, и чем глубже он старался вникнуть в причины этого перелома, тем малодушнее становился он, тем чаще предавался он покаянным самооплевываниям. Мало-помалу он прекратил всякие связи с знакомыми помещиками; стал запивать, якшаться с мужиками. А в это время Катя неослабно работала над собою: в своем уединении поглощала жадно все, что только могла найти печатного в безалаберной библиотеке отца; и только изредка разнообразила свое уединение, навещая с Кузьми-

нишной старую попадью и молодую дьяконницу ближайшего села, да одну вдову-помещицу, проживавшую мирно и тихо с своей племянницею в соседней усадьбе. В этих семействах наезжали на праздник молодые люди, заглядывавшие в медвежьи углы, где проживали «авторы их дней». Они были вестниками о какой-то иной, бурливой и непонятной жизни, кипевшей где-то там далеко, за дремучими лесами, за необозримо длинной степью.

Прошли два томительные года; капля за каплей, жадно воспринимала Катя случайные вести из далекого мира... «Папа, я не могу больше жить здесь, я уеду», – одним вечером, наконец, решилась Катя выговорить отцу давно уже созревшее в ней решение, когда он был особенно весел, распивая со стариком дворецким рябиновую. Вольтерьянец не понял сначала, об чем говорила ему дочь, но, казалось, смутно чувствовал что-то и горько-застенчиво улыбнулся ей. Старый дворецкий ровно ничего не понял и продолжал благодушно сиять своими обесцвеченными глазами, и только когда подслушивавшая за дверью Кузьминишна, ворвавшись в комнату,

грозно крикнула майору: «Да ты слышишь ли, сударь, что дочь-то тебе говорит?» – все вдруг всполошились, не то сконфузившись, не то испугавшись чего-то. Старик дворецкий внезапно заторопился «к себе, на кухню», побрякивая и утирая усы и бороду; майор почему-то быстро налил рюмку, быстро проглотил водку и тотчас же поставил графин на окно, а Кузьминишна торопливо отыскала в кармане очки и, надев их, стала через них строго и внимательно смотреть то на отца, то на дочь.

Майор прошелся по комнате и стремительно вернулся опять к окну, опять проглотил рюмку водки, с треском захлопнул графин и затем, сев в кресло, стоявшее в тени, стал набивать трубку «Жуковым». Села и Катя, серьезная, задумчивая, но с какой-то нетерпеливой решимостью на лице; ее щеки и лоб горели; в глазах бегали искорки взволнованной мысли. Села и Кузьминишна против отца и дочери и все еще не переставала глядеть на них в упор поверх своих очков. Молчал майор, молчала дочь. «Да ты, сударь, спросишь, что ли: куда она у тебя собирается?» – не вытерпев, выпалила Кузьминишна, повернув-

шись всем негодующим лицом к майору. Майор вздрогнул, завертелся, усиленно затаился и закашлялся...

– Я еду в столицу, – скороговоркой сказала Катя, предупреждая смущение отца, – я еду жить с людьми... еду учиться... – Она хотела было продолжать, заикнулась и замолчала...

Майор усиленно засопел трубкой, опять нервно завертелся в кресле и заговорил, прерывая речь попыхиваниями в чубук:

– Что ж?.. учиться... да, дело хорошее... это хорошо... Что ж? Я не мог... Я виноват! Я недостойный!

– Папа, папа!.. Нет, не надо так! – вдруг прервала его странную речь Катя. – Зачем? Это же нужно... Это я сама... Тут никто не виноват, кроме меня!

– Да ты скажи: чему это ты учиться едешь, сударыня? Чему ты не научилась еще? – направила свою грозную физиономию Кузьминишна уже на Катю.

– Учиться? – улыбнулась Катя. – Многому, а прежде всего лечить... Пойду в фельдшерницы, в повивальные бабки...

Кузьминишна так и вскочила со стула и

остановилась среди комнаты в необычайном недоумении; первая мысль ее была, что ее хотят провести.

– Да ты, сударь, не слышишь, что ли, что она говорит? – дернула она майора за рукав. – Али тебе не стыдно за дворянскую дочь?

Майор усиленно тянул из чубука. Кузьми-нишна подождала ответа, но он молчал.

– Ну, так этому не бывать, – азартно решила она и ушла, громко хлопнув дверью.

Отец и дочь остались одни и молчали.

– Мне, папа, завтра хочется ехать, – первая прервала молчание Катя. – Ты меня проводишь до города, – прибавила она с усилием и вдруг вся вспыхнула: в первый раз сказала она отцу «ты», приученная говорить с младенчества вежливое «вы», и это маленькое слово диким, терзающим диссонансом резнуло ее ухо.

– А дальше? – почти шепотом спросил майор, которого все сильнее и сильнее охватывала боязнь чего-то, у которого падали силы под наплывом чего-то гнетущего, неопределенного и непостижимого.

– А дальше... дальше не нужно... Дальше я

не хочу никого...

– И не хочешь даже?..

– Да... и не хочу! – слабо и нерешительно выговорила Катя.

Майор поднялся – и вдруг замигал глазами, и щеки у него передернуло, губы свело судорогой: он силился улыбнуться...

– Я теперь, папа, спать пойду. Мы поговорим еще завтра, – сказала Катя и вышла, угнетенная первой борьбой.

По уходе ее майор опять сел в кресло и пролил покаянные слезы.

А в это время Кузьминишной овладела ужасная мысль, что с решением Кати та цель, неуклонно достижению которой посвятила она всю свою любовь, все свои заботы, исчезает окончательно, что ее «принцип» (повторяем, что у Кузьминишны были всегда принципы не менее крепкие, чем у образованных людей), ее идея, которую хотела она осуществить в лице Кати, подрывалась в корень, и из Кати, как и из тысячи ей подобных, случайных существ, являвшихся результатом барской прихоти и рабства, должно было выйти нечто уже давно знакомое, несущее на

себе проклятие отвержения. Эта мысль глубоко волновала ее, и со всею силой своей старческой энергии восстала она против намерения Кати.

Она уговаривала ее, сердилась на нее, грозила больше «не знать и не ведать» ее, не молиться за нее, наконец решилась даже на непохвальное дело, стараясь тихими нашептываниями разных ужасов восстановить слабого отца против Кати. Но все было напрасно: воля и настойчивость Кати были достойны ее воспитательницы. Несмотря на то что Кузьминишне почти на целую неделю удалось задержать разными способами отъезд нерешительного майора и Кати, одним ранним утром, наконец, подъехала к майорской усадьбе давно жданная Катей тройка пунктовых лошадей. В это же замечательное утро совершилось нечто неожиданное и с Кузьминишной: она вдруг круто изменила свой образ действий, принялась быстро и заботливо собирать и связывать вещи Кати, изредка только ворча себе что-то под нос. Катя улыбнулась, смотря на нее, а Кузьминишна, заметив это, полусердито, полунежно говорила ей:

«Ну, так хорошо же! поезжай... Хорошо же! хорошо же! хорошо же!» Говоря это, Кузьминишна лукаво подергивала головой и хранила какую-то тайну: очевидно, в душе ее опять зрела идея. Все вышли на крыльцо; весело позвякивал колокольчик, 'весела была и Катя; около крыльца собрались ближние «добрые люди», в шапках и без шапок, нарочно и мимоходом, мало зная или совсем не зная, что за стремления и куда влекут уезжающих, но – все с сердечным напутствием на широко улыбающихся лицах.

– Ну, поезжай, хорошо же! – проговорила в последний раз Кузьминишна, благословляя костлявою рукою Катю и не отирая с лица безжавших слез. Заскрипел тарантас, застучали колеса; «добрые люди» вслед за Кузьминишной осенились крестным знаменем, и Катя скрылась надолго из родного гнезда.

Через месяц вернулся майор домой, скучный, расслабленный, разбитый. Две недели кутил он в губернском городе после проводов Кати, пока не прокутил все бывшие с ним деньги. Приехав, он вновь запил и с каждым днем падал все ниже и ниже, нравственно и

физически: он теперь порвал уже окончательно всякую связь с соседними дворянами; он стыдился себя, а они гнушались им; стал ходить по деревенским кабачкам, таскаться с Кузей, сделавшимся ловким кулачком, по ярмаркам, по сельским трактирам. Здесь он то бушевал, то проливал покаянные слезы, несколько раз подвергался опасности быть избитым, а иногда совсем потерять жизнь, но всегда был спасаем самоотверженно Кузей, любившим его какой-то странной любовью. Иногда он запирался дома и грустил, грустил глубоко, давал обеты «вести осмысленный образ жизни». Это всегда случалось раз в месяц, когда на посылаемые им ежемесячно Кате 30 рублей он получал ее короткое письмо. «Я получила, папа, твои Деньги; здорова, счастлива, учусь. Твоя Катя». Он целый день носился с этим письмом, выпивал только пред обедом и ужином, но на следующий день опять ослабевал, проклинал себя и пил и плакал, плакал и пил...

Если бы знала это Катя? Но было ли бы лучше, если бы она знала? Прошло четыре месяца, как вдруг вместо ожидаемого письма

майор получает обратно посланную им обычную сумму... Дрогнули руки майора, ноги подкосились, мысль, что она умерла, рванула его за сердце. Но он видит на адресе ее почерк; он дрожащими руками сламывает печать и читает: «Папа, я больше не хочу жить *твоими деньгами*. Я отрекаюсь от всего, что мне напоминает то... прошлое... Больше не беспокойся присылать мне... Я знаю, ты будешь сердиться. Но я так хочу и, чтобы избежать ни к чему не могущих привести переговоров, не пишу тебе своего адреса. – Катерина Маслова». (Это была фамилия ее матери по отцу – дворецкому; фамилия же майора была Усташев.) Майор облокотился обеими руками на стол, положил пред собою письмо и долго, сквозь слезы смотрел на сливавшиеся его строки. Он просидел так, не шелохнувшись, два часа, и, когда поднялся, Кузьмишишна «не увидала на нем лица». На ее ужас он ответил отрывисто: «Все одно... умерла... то есть нет, я... я для нее умер». Он заскрипел зубами и, молча показав невидимо кому кулак, велел заложить лошадей и поехал в ближайшее торговое село.

Давно уже окрестные крестьяне не раз вы-

казывали добродушное желание, зная майора за хорошего и умного человека, «приспособить к чему-нибудь» его барское ничегонеделание; давно уж они пытались поэксплуатировать в свою пользу его знания, но безалаберность майора, а отчасти и дворянский горор не позволяли ему подчиниться этой «добродушной эксплуатации». Но мужики словно чутьем чувствовали, что рано или поздно он будет их, да и сам майор давал надежду на это, потому что часто, пьянствуя с ними, он волей-неволей втягивался в их интересы, давал советы – то злобно, с какой-то ехидной преднамеренностью, желанием напакостить или им, или помещикам, или начальству, то добродушно и бескорыстно, любовно и заботливо. Мужичьим надеждам суждено было осуществиться: диким, злым, пьяным протестом пошел майор на это «приспособление». Ходя по кабакам и трактирам, нарочно искал он материала для этого приспособления: ни одна мужичья просьба, ни одна жалоба, ни одно недоразумение между мужиками и помещиками и тех и других между посредниками не оставлялись им без внимания. Сначала

полетели всевозможные «просьбы», «обжалования», «протесты», которые он строчил по кабакам, и, наконец, когда увидел, что эти «протесты» остаются в большинстве случаев мертвой буквой, он не вытерпел и стал принимать на себя личные ходатайства. Скоро имя майора загремело по окрестной Палестине: он стал «тоской и надсадой» посредников, помещиков и мировых съездов. Все окрестные помещики негодовали на него, и только благодаря его севастопольским заслугам да пятидесятилетнему возрасту удалось ему остаться «неприкосновенным». Майор чувствовал, что он «не один в поле воин», и еще энергичнее направил свою деятельность: скоро он сделался «тоской и надсадой» уже не одних посредников, но целого местного земства. Вся эта деятельность, сначала какая-то стихийная, беспутная, вскоре мало-помалу поглотила целиком душу майора; майор перестал пьянствовать, в нем забродило и ожило кое-что из старого, он перечитал даже кое-какие книжки, не без дрожащих на ресницах слез. В нем иногда закипала надежда, что еще не все пропало для него... Иногда эти надеж-

ды так радужно сияли пред ним, что идея любви и всепрощения осеняла его уставшую душу. Но чаще он чувствовал, что что-то «утекло», утекло невозвратно. В эти минуты его сердце разрывалось тоскою о рано умершей жене, о потерянной дочери, и только неустанно-шумная, не дающая очнуться деятельность среди наплывавших нужд серого люда помогла ему перенести эту тоску. Когда деятельность его стала разумнее и отчасти спокойнее, он занялся своим имением, под давлением Кузи, сделавшегося в это время известным всему окрестному люду под именем Чуйки; и скоро на месте старой усадьбы «обосновалась» та оригинальная колония, которую прозвали «полубарским выселком».

* * *

Шли годы – один, другой, третий, четвертый...

Был душный июльский вечер; в воздухе еще чуялась дневная гарь и пыль, не успевшая улечься. Нынешнее лето было очень тяжело для окрестной палестины; нестерпимые жары и засухи привели к пожарам, скотским падежам и холере. Майор, Троша и Чуйка, си-

дя на крылечке майорского дома, вели медленную беседу о «тяжелом времени», причины которого Троша, по обыкновению, искал в освобождении крестьян и народной, вследствие этого, «необстоятельности», а Чуйка, печалуясь о павших у них двух коровах, путем каких-то хитрых соображений пришел к заключению, что все это оттого, что «в людях веры нет».

– Где нынче подвижники? Нынче, брат, их за брильянты не сыщешь! Ежели бы в старые времена, так в эдакую тяжелую пору сколько бы подвижников было! Сейчас бы иноки[11] во власяницы[12] одеялись, патриархи бы облеклись во вретище[13], бояре и гостиные богатые люди, изыйдя на площади и раздав одежды своя, посыпав главы пеплом и отженяясь животов своих, пошли бы босы и наги по всей земле русской, инде учаще, инде милосердствуя, инде же вознося и укрепляя мятущийся дух. Вот как прописано в книжках... А нынче – все в копейку, в момент ушло! – закричал Чуйка, взволнованно поправив на голове фуражку.

Троша на это только скептически покачал

головой и скосил глаза, понюхав табак. А в голове у него егзила мысль: «Вот он – шишига-то! Аа-ах! Подвижники! А примерно, кто первым делом по базарам маклачит? В праздник божий, чем бы лоб перекрестить, а он, еле забрезжится, уж на ярманке и скупает где ни то? А теперь, из каких это капиталов, позвольте спросить, ваша супруга форсы задает: что ни лето – новый сарафан?.. Подвижники!..» Троша так увлекся этими размышлениями, что даже забыл о присутствии Чуйки и хотел было уже сообщить их майору, как вдруг издали слышался шум колес; из-за угла повернула телега, и майор, поднявшись, уже пристально всматривался в подъезжавших: из-за широкой спины мужика, сидевшего без шапки, в одной посконной рубахе, на передке, показалась шляпка, зонтик. Сердце майора забилося. Еще минута – и он вдруг как-то автоматически снял фуражку, обнажив свою серебряную голову, и, опираясь другою рукою на суковатую палку, замер под неожиданным наплывом чего-то неизвестного, как замирает на мгновение человек после ослепившей его молнии, в ожидании, что вот-вот,

еще секунда, и ужасный, потрясающий удар разразится над его головой... Катя, не дав остановиться лошадам, выскочила из телеги, быстрыми, но неровными и слабыми шагами подошла к отцу и, взяв его старую руку, крепко сжала, без слов, без поцелуев. Что-то не выразимое словом было в этом пожатии для майора; из его глаз хлынули потоком слезы и сразу смочили, как благодатною росой, его старческое доброе лицо. Катя поспешно отерла платком эти слезы и молча поцеловала его в лоб.

– Пойдем, пойдем, – прошептал майор, – вон туда, ко мне... – Он заторопился и чуть не упал от волнения, но Чуйка успел уже поддержать его.

Отец и дочь вошли в дом, а Троша, давно уже лениво стащивший с головы своей бобровый картуз, недовольно опять натянул его на голову: в приезде барышни ему чувствовалось опять «что-нибудь новое», что могло нарушить его мирный покой хотя бы самым отдаленным и косвенным путем.

А в это время майор, усадив перед собою дочь, говорил ей с умоляющею просьбой в

глазах:

– Голубушка! Пожми мне еще руку, еще так пожми... Мне ничего больше не нужно...

Он ловил ее руки, и она жала ему их крепко, со слезами и страданием в глазах, смотря в его розовое, влажное лицо, обрамленное седыми, подстриженными под гребенку волосами и длинными усами, висевшими над плохо выбритой нижней частью лица.

– И надолго? – боязливо спросил майор Катю.

– Да, надолго... теперь надолго...

– А-а!.. Ты, значит, слышала обо мне? – стыдливо спросил майор.

– Да, я слышала... Но нет... нет... я не поэтому! – вспыхнула Катя. – Я совсем по-другому... совсем по-другому, – повторила она задумчиво.

– И в такое время! Ты не слыхала, может быть, – У нас здесь вокруг холера...

– Слышала и это. Но мне все равно... Ведь ты же не боишься! А Кузьминишна уж наверно не боится? Чем я хуже вас?

В дверях показалась строгая фигура Кузьминишны.

– Так и надо... Омойтесь в бане покаяния и очиститесь в горниле смерти, – проговорила она наставительным тоном, молясь в передний угол.

Катя бросилась было к ней, но Кузьминишна чопорно и серьезно расцеловалась с ней и смиренно, скрестив на груди руки (это ее обычная поза в чрезвычайных случаях), встала в углу у двери. Кузьминишна сердилась: она не могла простить Кате ее «бесчувственного забвенья» их, как будто их совсем на свете не было, как будто они не любили, или не умели уже, или отвыкли любить, как будто в них (то есть в майоре, в ней и «во всех прочих», подразумевала она) сердца не было, сердце вдруг застыло и охолодело. Она многое ей простила, она в продолжение долгих четырех лет предавалась наедине размышлениям о странном поведении Кати, о крутом переломе в ее характере, многое угадала, хотя и смутно, но угадала, и чем больше угадывала, тем больше прощала ей, но одного не могла простить, именно: «зачем сердце забыли; ведь сердце-то так же болело и страдало и о других, а забыли сердце, уму дали да отмще-

нию волю!»

Но недолго, конечно, Кузьминишна фигурировала в этой роли огорченной матроны: она даже не выдержала и нескольких минут молчания, в продолжение которых отец безмолвно наслаждался, смотря в милое, дорогое лицо своей дочери и в каждой черте ища то того, старого, то совсем, совсем нового. В нем было и то, и другое: от старого осталась детская улыбка, иногда бойкий, резкий взгляд карих глаз, от нового – строгость и угловатость черт на лице и печать какого-то глубокого страдания, но такого, которое доставляло человеку много светлых, отрадных минут... Всего же поразительнее было в ней – строгая простота, почти аскетическая, из-под которой хотя и была ежеминутно свежая, знойная струя молодой, полной силы жизни, но тем не менее нисколько не вредила общему впечатлению. Кузьминишна не утерпела; ее волновало это «беспечальное созерцание» майором своей дочери.

– А вы бы, сударь, полюбопытствовали: чему ваша дочка изволила научиться в иных землях? – предложила она майору.

– И всему, няня, и очень немногому, – поспешила ответить Катя.

– Так все ж таки научилась дельному... или так? – переспросила Кузьминишна.

– Кое-чему и дельному... Приехала вот в бабки сюда, в земство.

– Гм... Ну, так хорошо!.. Постой же, – погрозила ей, улыбаясь, Кузьминишна и тотчас заволновалась, зашумела ключами, и лицо ее приняло то озабоченное выражение домовитых матерей, с которым они любят угощать своих возвращающихся из ученья детей. Кузьминишна устраивала праздник деревенского кулинарного искусства, сбив с ног для этого дела почти всю колонию, даже невозмутимого Трошу, которого заставила ловить курицу, забежавшую от страха пред гонявшейся за нею Кузьминишной к нему в огород.

Три дня Кузьминишна справляла по-старо-заветному праздник в ознаменование возвращения «блудной дщери»: то заколола лучшего гуся, то индюшку, то каплуна. Но в то время как, увлекшись слишком воспроизведением притчи о «блудном сыне», она забыла о всякой гигиенической предосторожности,

майор, напротив, окружил свою дочь самой нежной заботливостью и в каждой мелочи старался парализовать слишком усердное гостеприимство Кузьминишны. За обедом он то возьмет у Кати с тарелки слишком жирный кусок и положит ей тщательно выбранный им другой, то нежно спрячет у нее из-под глаз миску с земляникой и сливками, когда та слишком увлечется давно невиданною ею деревенскою роскошью, то запрет сад на ключ, в опасении, чтобы его дорогая Катя опять слишком не увлеклась красными вишнями, которые она так любила. По вечерам, когда Катя выйдет в сад, или ночью, когда она заснет мирным здоровым сном, майор тщательно дезинфицировал карболкой, ждановской жидкостью и уксусом четырех разбойников не только комнаты дома, но и всю усадьбу; принудил даже Кузю и Трошу заботиться об атмосфере своих жилищ. Его опасливость за нежно любимую и неожиданно возвращенную ему дочь доходила до нервной и томительной болезни; он страдал бессонницей, его кидало в жар при мысли, что вот-вот занесут холеру в его усадьбу; он даже не подпускал

мужиков из окрестных деревень близко к своей усадьбе. Часто ночью раза два заглядывал он в спальню Кати и чутко прислушивался к ее мерному дыханию... Он даже рискнул очень строго поступить с Кузьминишной: голосом, устраняющим всякое возражение, он запретил ей на сажень удаляться из усадьбы, а тем паче ходить в окрестные деревни – лечить или принимать у себя крестьянских беременных баб. Но бабы все-таки ухитрились всевозможными способами проводить бдительность майора и проскользнуть на медицинские консультации Кузьминишны так ловко, что майор никогда бы не знал об этом, если бы не усердие Троши, который, еще более майора боясь холеры, уже по своей личной трусости доносил ему о замеченных им бабьих ухищрениях, нарушавших всякие карантинные предосторожности. Но скоро случилось такое непредвиденное событие, которое сразу положило конец этой охранительной войне майора и Троши против соседних баб. Случилось это событие как раз по прошествии трех дней с приезда Кати, когда Кузьминишна положила предел устроенному в

честь возвращения «блудной дочери» празднику деревенского кулинарского искусства. На третий день к вечеру Катя случайно зашла в избу Кузьминишны и застала у нее проскользнувших из-под присмотра майора двух деревенских пациенток; пациентки было смутились, но Катя смутилась еще больше, когда ей сказали, под какой охраной держит майор свою усадьбу. Какая-то жгучая мысль пронеслась в ее голове, краска бросилась в лицо, и она как-то смущенно и порывисто стала расспрашивать баб о здоровье, исследовать, давать им советы и, наконец, велела им назавтра прямо приходить к ней, а если кто задержит их, то сказать, что сама барыня так приказала. Бабы ушли, а Катя и Кузьминишна целый вечер пробеседовали о бабьих болезнях. Катя как будто очнулась, как будто вспомнила неотложность какой-то обязанности, и ночью долго горел в ее комнате огонь, долго просматривала она медицинские книги, торопливо, нервно, как будто собираясь куда-то. В эту ночь не спалось и Кузьминишне: какие-то мысли не давали ей покою; несколько раз вставала она с лавки и моли-

лась об укреплении в чем-то и спасении от чего-то. На следующий день, рано утром, с пологом[14] в руках и узелком с какими-то снадобрями тихо прошла она в комнату Кати. Катя была уже одета в простую серенькую блузу, затянутую кожаным ремнем, с клеенчатой шляпой на голове.

– Ты не бойся, Катюшка, – шепнула Кузьминишна, – я уж за тебя молилась, а теперь сама помолись.

– Хорошо, няня; я про себя, в уме помолюсь.

– С молитвой-то лучше... Я вот уж как боялась за тебя, не решалась все, да помолилась – и трусить перестала... Вера, сказано, горами двигает... Иисус Навин с верой-то солнышко остановил... А ты шляпку-то сними, – вдруг посоветовала она Кате, – повяжись платком: для нас, деревенских, лучше как-то...

Катя наскоро сняла шляпу, покрыла голову белым носовым платком и вышла вслед за крестившейся на ходу Кузьминишной.

Едва вышли они за околицу, как навстречу им показался майор, ехавший с Трошей с полевых работ. Кузьминишна перекрестилась.

– Куда?! – вскрикнул майор, в необычайном недоумении останавливая лошадь, едва они только поравнялись. Троша было поднес руку к своему бобровому картузу, чтобы с подобающим уважением раскланяться с «барышней», как вдруг его рука так и застыла на облупленном и вытопившемся на солнце козыре. Увы! Он услышал следующие слова Кузьминишны, ворчливо обращенные ею к майору:

– Ну, батюшка, – сказала она, – не все праздновать; пора и других вспомнить... Недаром, поди, учились.

Майор уже готов был что-то еще крикнуть.

– Мы идем в деревню: там много больных, – предупредила его Катя.

– Старуха! сумасшедшая! Это ты! ты! – закричал майор, выскакивая из плетушки и в негодовании наступая на Кузьминишну.

– Папа, – твердо выговорила Катя, – она не виновата... Я должна была сама...

Майор и Катя оба были взволнованны; у последней на минуту в глазах сверкнул какой-то странный огонь, который раньше не приходилось замечать майору. Он наскоро

снял фуражку, наскоро перекрестился и, молча вскочив в плетушку, погнал лошадь...

– Ну, теперь загубили!.. Как пить дадут!.. я говорил? Мое слово с ветра не бывает, – ворчал Троша, беспокойно вертясь рядом с майором. – Сударь! Прикажите наистрожайше вернуться, пока не поздно!

Вплоть до усадьбы продолжал волноваться Троша, несколько раз взывая к майору, но майор продолжал упорно молчать и, приехавши домой, бросил Троше вожжи, выскочил из плетушки и скрылся в своем кабинете. Долго сидел он здесь, молча выкуривая трубку за трубкой; глаза его нередко наполнялись слезами, им овладевал малодушный страх пред чем-то. «Опять! – шептал он. – Что, если теперь она *также* взглянет? Если опять отрешится от меня? Поймет ли она, что теперь уже не то... что теперь уже это я из любви к ней, к ней одной... Но, спросит, зачем же к ней одной?»

Покаянные мысли вновь обуяли душу майора, но уже это было последнее покаяние.

Глава пятая

Вера сердца

Общие впечатления детства скорее и вернее всего сближают людей. Так было и теперь. Вызванные мною в душе Кати воспоминания как-то незаметно нарушили ее сдержанность и холодность; она увлекалась, читая в моем лице, что я переживаю те же самые ощущения, какие овладели ею, и к концу рассказа мы были как будто давно знакомы. А последний эпизод с бабами и выходка Кузьминишны, когда она, вопреки всем майорским предосторожностям, повела Катю в деревню, охваченную эпидемией (этот эпизод Катя рассказала несколько иначе, нежели передал его я: она прямо всю инициативу дела приписала Кузьминишне, предоставив себе только пассивную роль, даже прибавила, как она будто бы струсилась), заставили нас даже очень добродушно расхохотаться. В конце концов Катя, кажется, осталась довольна мною, в особенности при рекомендации Кузьминишны, по которой оказывалось, что у меня «сердце

есть»... Увлечшись такою доверчивостью Кати, я так-то невольно спросил ее:

– Скажите, что вас заставило вернуться сюда и жить здесь? Неужели только желание служить земскою повивальной бабкой?

– Нет, – ответила Катя и тотчас же насторожилась.

– Вас обманули *там*?

– Тот не обманывает, кто обманывается сам, – произнесла она докторальным тоном, в котором уже и следа не было прежней задушевности.

Но я, хотя и заметил это, хотел уже разузнать все, чего мне недоставало для понимания «истории майорской дочери».

– Значит, вы сами изверились?..

– Да, – предупредила она мой вопрос.

– И, как заблудшая дочь, вернулись сюда, чтобы обратиться к старой вере?

– Нет, не к старой, а найти... *новую*.

– И нашли?..

– Отчасти... Да что вы меня допрашиваете? – резко спросила она.

– Меня это очень интересует, потому что я сам изверился... Вы мне не верите?

Она посмотрела мне в лицо.

– Нет, верю, – твердо сказала она после небольшого молчания. – Я о вас слыхала.

– Скажите, в чем же суть?..

– Вы знаете Башкирова? – прервала она.

– Знаю... Но, насколько мне известно, он не теоретик...

– Да, он не теоретик... У него нет системы. Но он сам – воплощение веры сердца...

– Как вы сказали?

– «Вера сердца»... Это не совсем точно, но еще нет названия, так как все это пока очень неопределенно...

Башкиров сам по себе – факт, воплощение этой веры...

Я замаялся и думал, что ей ответить. В это время за дверями послышался голос майора.

– Наполеоны! Волтеры! – кричал он.

– Да, этот грех за нами из веков, – ответил кто-то, сильно напирая на о.

Катя быстро встала, вспыхнув от чего-то: может быть, она узнала голос гостя.

– Говорите же что-нибудь... Вы понимаете, например, что такое Кузьминишна? – почти шепотом и нетерпеливо спросила она меня.

– Понимаю.

– Ну, вы должны чувствовать и это... эту «веру сердца», – сказала она и вышла в соседнюю комнату.

– Каточек! Катя!.. Поймал, наконец, брат!.. Поймал! Ха-ха-ха! – кричал майор, проталкивая сзади в дверь какую-то странную фигуру.

– Ничаво, я теперь не убегу, – протяжно проговорил оригинально принимаемый гость.

Признаюсь, не скажи он ничего, я не скоро узнал бы в этой странной фигуре Башкирова. Весь в пыли и поту, в старой синей поддевке, подпоясанной веревочкой, в брюках, засунутых в дегтярные сапоги, с широко улыбающейся потной физиономией и довольными глазами, прикрытыми большими синими очками, он был оригинален и неузнаваем.

– Ха-ха-ха, брат! Поймал! Старуха! Припирай двери! Засовом! Крепче! – суетился, видимо, чрезвычайно чем-то довольный майор.

– Ничаво, я теперь не уйду. Я и сам изустал, – говорил Башкиров, садясь несмело на стул около двери, вытираясь большим клетчатым платком.

– Катя! Где же она? – озирался майор. – Ты посмотри-ка: затащил, брат, затащил!

– Наконец-то! – сказала Катя, скорой походкой выходя из соседней комнаты прямо к Башкирову, и пожала ему крепко руку.

– Потная. Издалека иду, виноват! – протянул конфузливо Башкиров, вытирая руку платком уже после того, как Катя ее пожала.

Катя ничего не ответила и снова села на прежнее место, с серьезным любопытством устремив взгляд на Башкирова и несколько даже подавшись вперед корпусом, как бы ожидая разъяснения и этого визита, и странности костюма, в серьезной цели которых она, по-видимому, не сомневалась.

– Нет, ты спроси, Каточек, где он был? Какую он штуку сделал... нет, не «сделал», а как?.. Оборудовал? Да? – обратился майор к Башкирову.

– Оборудовал.

– Да, да! Никто ведь не сумел, никто не смог... А наш гениал-то, Морозов-то... Каков!.. Ха-ха-ха!.. Отказал!.. Вот они, Наполеоны! Волтеры!..

– Какое же это дело? – спросила Катя.

– Да я тебе, кажется, рассказывал? Нет? – заторопился майор, говоривший всегда скороговоркой, когда хотел сообщить что-нибудь чрезвычайное, как будто боясь, чтоб его не предупредили. – Помнишь, добросельцы с красносельцами хотели сообща луга и пашни снять у Дикого? У них ведь совсем лугов нет, на пашне скот пасут, а то по болотам, а рядом, у Дикого, поемщина в полтора-два десятка десятин лежит дарма: ни себе, ни людям. Кулаки к нему сколько раз было наведывались, цены нагнали страшные, – всех выгнал; мужички потом сами ходили, авось-де счастье не выпадет ли им, и их выгнал! Вот, извольте видеть, молодой человек (это майор ко мне обратился), мужички просто смотреть без слез не могут на эти луга. У них скотина – кожа да кости, а под глазами – пойма... Да-с, так вот какая, можно сказать, поразительная картина была! Думали-думали мужики и надумали кого-нибудь со стороны послать к Дикому: сейчас, конечно, ко мне. Ну, я их спровадил к Морозову, – все же скорее может успеть: некоторым образом чуть не родные они с Диким. А наш гениал-то, каков!.. Как вы думаете: что он сделал?

А? Отказал!.. Да, отказал!.. «Я, – говорит, – тут никакого успеха не предвижу, братцы, потому что мы с Диким слишком в убеждениях расходимся. Ступайте к майору! Он сам помещик!» Каков!.. А? К майору! А майор – что? Майор, стало быть, не имеет убеждений? А?

Майор заходил в волнении по комнате.

– Старушенция! Да скоро ли ты нам водки-то дашь? – вдруг крикнул он, обращаясь куда-то за стену.

– Несу, несу... Слышу уж! – говорила Кузьминишна, внося поднос с закуской и ставя его на стол. – У нас, бывало, у барины моего, вот так же: говорят-говорят об этих Волтерах-то да и понапьются... Здравствуйте, батюшка! – поклонилась она Башкирову.

– Здравствуйте, здравствуйте, бабушка, – привстав, сказал Башкиров и подал ей с самым сердечным добродушием руку, к которой несмело прикоснулась своими пальцами Кузьминишна.

– А вы знакомы? – спросила Катя, по обыкновению широко открывая глаза.

– Мы... помалости беседовали, – ответил Башкиров.

– Кто меня не знает?.. Все меня, старуху, знают... На-ткос, какую махину годов прожила! – заметила Кузьминишна, скромно уходя и тихонько притворяя за собою дверь.

– Хорошая баба, куда хорошая!.. – с видимым удовольствием проговорил Башкиров и даже потер большими красными и толстыми руками свои колени.

– Н-да! Так вот майор, делать нечего, и отправился, – заговорил майор, прожевывая огурец и успев уже под шумок выпить. – А вы выпейте-ка... Пьешь ведь? – спросил он Башкирова (майор частенько говорил «ты» тем, к кому в данную минуту чувствовал особое расположение).

– Отчего ж? Пью... Нельзя не пить!..

– Я, брат, знаю! Ты не из этих, не из гениалов... От царской да от мужицкой чарки никогда не отказывайся! Грех! Да, так вот и «поехал наш Иван за кольцом на окиян...». Уж именно – окиян! Насилу принял... Из ума выжил!

– Хороший мужик... Беда – хороший! – опять с особым удовольствием заметил Башкиров, выпивая вполуборот от Кати водку, и

затем почему-то сконфузился и покраснел.

– Хороший, брат, это верно. Только тут немножко тово... винта не хватает. Ну, да это – особая статья. Наконец добрался до него... Говорю: так и так: ежели даже по-христиански... И, боже мой!.. Поднялся, зашемел, заплевал... «Я, – говорит, – тебя уважал, старик, когда ты *тем* кровь портил... Ну, а мужицкое брюхо растить я тебе помогать не намерен!..» Бился, бился – с тем и отъехал!

– Чем же кончилось это дело? – спросила Катя, внимательно всматриваясь в хитро улыбавшееся лицо майора, которое давало повод предполагать, что «штука-то» еще впереди.

– А ты вот его спроси! – показал майор на Башкирова. – Вот Дикой всех прогнал, всем оглобли завернул, – а ему не завернул, его не прогнал! А почему?.. А потому, что вот он – не Вольтер; когда у одного мужика сошник лопнул, – а пора была страдная, ни взять негде, ни послать в город некого, ни самому от бороны оторваться нельзя, – вот он, не Вольтер-то, пехтурой в город отмахал двадцать верст, а к вечеру мужику сошник принес! Нет, ты рас-

скажи! Пускай он сам расскажет. Ну, как ты ухитрился? Как ты оборудовал? А?.. Ведь отдал он мужикам луга на съем?

– Один лужок отдал, – сказал Башкиров.

– Ну, как же, как же ты оборудовал? – спрашивал майор и, подсев рядом к нему на стул, стал набивать трубку у себя в коленях, приготавливаясь слушать.

– Да я не знаю... само сделалось, – протянул конфузливо Башкиров и засунул руки между колен.

– Нет, ты рассказывай все порядком, как было. Мы, брат, пойдем.

– Сегодня утром приходят мужики ко мне, – начал обстоятельно излагать Башкиров, – и говорят: «Сходи ты, сделай милость, к нему сам: что это, господи, царь небесный, за оказия! Ведь мы не милостыню просим у его; деньги вперед уплатим!» – «Ну, ладно, – говорю, – коли так – испробуем...» Надел вот эту хламидку-то, взял хлеба кусок за пазуху и пошел. Прихожу и говорю: доложите, мол, лекарь пришел... Конечно, глаза таращат слуги-то. Велел войти. Вхожу, говорю: «К вашей милости». – «Ты кто такой?» – «Лекарь», – го-

ворю. «Знахарь?» – «Нету, батюшка, как быть: из ученых... Вот извольте посмотреть» – и ему на стол диплом выложил. Он сейчас же издвинулся... «А! – говорит, – прошу покорно садиться, – и кресло мне ногой придвинул. – Федот! принеси нам вина!» Приказал, а сам с меня глаз не спускает. Все охаживает ими меня с головы до пяток. «По какому делу-с? Вы, кажется, обедняли, ищите места? Виноват, деньгами, несколькими рубликами, могу снабдить; а более ничего не могу... Я ни с кем теперь не имею ничего общего – ни с земством, ни с администрацией!..» Ну, я ему сейчас и доложил. «Чего-с? Вам что за дело? – воззрился он на меня. – Вы служите? Может быть, в гласные хотите?» – «Нету, – говорю, – не хочу...» – «Имеете практику?..» – «Нету, не имею, а лечить лечу, кому надобность есть...» – «Извините, я вас не понимаю!» – говорит и поклонился мне.

– Ха-ха-ха!.. Вот тут и раскуси! – восторгался майор, постоянно повертываясь на стуле, перекидывая ноги с одной на другую, попыхивая в чубук и в самых интересных местах ероша свои седые волосы. – Ну, ну! – подгонял

он.

– Ну, я ему и стал докладывать. «Мы, – говорю, – друг друга, ваше-ство, скоро пойдем, потому что вы отрешились и я отрешился...» Ну, и повел в эдаком роде параллель... Он все слушал, все слушал. «Признаюсь, – говорит, – не ожидал. Хорошо, – говорит, – я согласен! Интересный вы молодой человек, заходите ко мне!» Ну, я теперича пойду уж, – заключил Башкиров, тяжело вздохнув, как будто, сделав этот доклад, почувствовал себя совершенно свободным.

– Куда? Куда? – вскочил майор. – Старушенция, припирай двери!..

– Да чего же я здесь буду приятно беседовать, когда мужики меня ждут! Нет, уж я пойду!

– Да, да, ступайте, – торопливо проговорила Катя и, быстро встав с места, пожала ему руку еще сильнее, чем прежде.

– Ну, нечего делать!.. Хоть поцелуемся, брат, на прощание! – сказал майор, при всяком удобном случае падкий на нежные изливания, – и расцеловался с Башкировым.

– Хороший старик! – проговорил, улыбаясь,

Башкиров, взглядывая то на майора, то на Катю. Очевидно, впрочем, эта фраза назначалась собственно для Кати. Щеки Кати покрылись легким румянцем довольства, и она вновь с глубоким чувством признательности пожала Башкирову руку. Мне почему-то невольно припомнилась при этом сцена у Морозовых на именинах, когда Катя на легкое раздражение Морозова, вызванное наивным докладом майора о своих заслугах, резко отвечала: «Папа, уйдем отсюда...» Сопоставление казалось мне знаменательным.

– Теперь вы, наконец, поняли?.. Видели, что такое он? – спросила меня Катя несколько напряженным голосом, когда Башкиров вышел в сопровождении майора, не перестававшего еще долго за дверью кого-то хвалить и кого-то бранить.

– Отчасти, – сказал я. – Впрочем, все это я знал о нем и раньше... Но ведь он, может быть, исключение?

– Нет, нет, – настойчиво ответила она, как-то особенно высоко подняв голову и проводя рукой по волосам, которые слегка всклокочил легкий ветер, пробивавшийся в окно сквозь

застилавшую его зелень, – потому что иначе невозможно было бы жить... по крайней мере, для меня... Я лучше объясню вам примером: что сделали бы вы, если бы тот храм, в котором вы молились, обратили в торжище, одни – сознательно, другие – помогая по недоразумению или по неопытности?

– Я ушел бы из этого храма, унося в своем сердце бога и свою веру, – ответил я.

– И только?

– И только.

– Нет, этого мало... Нужно же проявить в каких-нибудь формах свою веру... А они не должны быть настолько податливы и растяжимы, чтобы дать место лицемерию или обману... Вот что нужно найти, чтобы спасти себя и всех!

– И возможное осуществление этого вы находите в Башкирове? – спросил было я, но в это время вернулся майор. Я успел только по глазам Кати заметить, что вряд ли бы еще она на этот вопрос ответила без колебания: «да».

Она, очевидно, еще изучала его.

– И Орск – романтизм! А? Помните вы это? – крикнул майор, обращаясь ко мне. – И

Орск – романтизм! каково!.. Вот тебе сын народа! Как прошли цивилизованную школу да понюхали культурного житья, да ежели еще при этом жена богатая...

– Папа! Ты слишком стал нападать на Петра Петровича, – заметила Катя, кладя со стола на колени шитье и принимаясь снова за прерванную работу.

– Как нападать? Ведь ты сама видела! – несколько недоумевая, обратился майор к дочери. – И ведь ты, кажется, сама...

– Тогда, папа, было дело принципа, но собственно сам по себе он – человек очень хороший!

– Ну, извини. Я что-то мало тут понимаю...

– Морозов прежде всего очень хороший человек; он не падает так низко, как думаешь, – продолжала Катя, – я его уважаю... я уважала и его принципы, я сама жила его верой, и ежели теперь... Но я знаю, я уверена, рано или поздно Морозов поймет это.

Все это Катя проговорила несколько взволнованным голосом, нервно делая складки на полотне.

– Ну да, ну да! Защищай его! – сказал май-

ор, любовно посмеиваясь и подмигивая мне на дочь. – Воспитатель ведь твой! Как, как ты говорила про него? «Он – пахарь, он – сеятель, он бросил первые зерна...» Так, что ли? А до жатвы ему нет дела?

– Да, жатва не его, – едва слышно проговорила задумчиво Катя.

– То-то вот и есть! А, что я тебе говорил: он – Рудин! Вы думаете, Рудины были и быльем поросли? Нет, брат, они живучи! Ты думаешь, что он артели устраивает, так будто и дело делает? А я тебе скажу, что все это – та же рудинщина, только в иных формах. Знаем мы их – этих разочарованных наполеонов-то, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!».

– Да, это отчасти справедливо. Я не сомневаюсь, что он может умереть так же, как умер Рудин. Но если ты говоришь в ином смысле, в смысле фразы, в смысле надутого ученого самомнения – это неправда. Нет! Нет! Это неправда! В нем сильны хорошие инстинкты, он чуток к истине! – торопливо проговорила Катя, как будто боясь, чтоб ее не перебили.

– Ну да, ну да! Разве с вами можно сгово-

ритель! То из-за одного слова чуть скандала у него не наделала, меня, старика, утащила, а теперь...

В эту минуту в дверях показался Чуйка.

– Ты что, Кузя? – спросил его майор.

Чуйка сел у двери.

– Господин Башкиров, кажись, изволили навестить? – спросил он, больше обращаясь к Кате.

– Как же, как же, – отвечал майор, – навестил! А ты его встретил?

– Встретил-с; идут, палочкой помахивают. Сожалею, что не потрафил сюда ко времени.

– А что, Кузя, он тебе нравится? – спросила, улыбнувшись, Катя.

– Как же! – протянул Чуйка с каким-то непередаваемым выражением в голосе.

– Чем же он тебе нравится? – спросила опять Катя, по лицу которой было заметно, что она очень хорошо знала и то, что Башкиров нравился Кузе и почему он ему нравился; очевидно, эти вопросы задавались с целью только еще раз услышать подтверждение любимой идеи, а отчасти, может быть, еще более убедить меня.

Кузя не скоро отвечал на этот вопрос; он сначала исподлобья посмотрел на Катю, потом на меня, потер колени и, запинаясь, проговорил:

– А потому – как вполне человек... ежели судя по настоящему времени...

– Ну, ладно! мне, брат, некогда, – сказал майор, когда Чуйка придумывал, что сказать дальше.

– Это так точно, – подхватил он, быстро вскакивая и запахивая полы чуйки, – мужики томятся. Пожалуйте-с!

– Сейчас, сейчас, вот только еще трубочку выкурю... Ну, а какое ты сообщение хотел сделать?

– А вот насчет этой самой алебастровой артели господина Морозова-с.

– Был там? – с видимым интересом спросил майор, раскуривая трубку.

– Был-с.

– Видел его?

– Его не видал, потому еще почесть на заре ходил... прохладнее. А с мужиками беседовал. «Ничего, – говорят, – мы согласны!» Ну, честь честью, пригласили меня поутренни-

чать: кашницу они вчерашнюю в котелке разогрели; я сейчас же к ним примостился... Люблю я так есть! Пары с речки поднимаются, холодком тянет, дымком попахивает из-под котелка... Помнишь, в иные-то времена, как помоложе были, какие мы теплины на речке около лесу зажигали: дым-то у нас выше лесу стоячего, выше облака ходячего подымался!.. – увлекся Кузя, обращаясь к Кате.

Его глаза забегали и засияли, все лицо загорелось улыбкой, и он весело и любовно глядел в лицо Кати, как бы видя пред собой не эту взрослую, солидную девушку, но бойкую тринадцатилетнюю дикарку, полную, румяную и загорелую, с кучей растрепанных кудрей на голове, с которой делал он некогда лесные экскурсии. Катя улыбнулась на это обращение к ней Кузи, но улыбнулась так, как улыбается юность при свидании с старой няней на ее длинные и обстоятельные рассказы о том времени, когда эта юность и как сначала ползала, потом «пешком под стол ходила», когда и как расшибала себе нос и прочее. Кузя так же было пустился, поощренный улыбкой Кати, в подобные же

подробности, но майор докурил трубку и заторопился.

– Ну, пошел, пошел! Правду говорят мужики, что у тебя чирей на языке. Что же Морозов-то, Морозов-то что же?

– А господин Морозов, так надо полагать, нашего брата не допускают.

– А-а! отчего ж так? – спросил майор и бегло взглянул на дочь.

– А так, надо полагать, что они против нас мнение имеют, в том роде, что мы, по своей коммерческой практике, в их понятии, кулаки выходим. Ну, а они, господин Морозов, артель свою на подборе устраивают. Тут тоже рассказывали, один мужичок, с пахлей сбившись, пристанища не находя, прослышал об этой самой артели – и к ним было. Ну, тоже господин Морозов отказал, то есть этим самым артельным мужичкам растолковал, что-де им наистрожайше нужно народ избирать!

– Так, так! нам чистеньких подавай! – взволновался майор, быстро выпил еще рюмку водки, взял фуражку, сказал мне, шаркнув ножкой: «Прошу извинить», – и вышел.

– Это точно... ежели подбор, – размышлял

Кузя, разводя руками, – только ведь для этого нужно, чтобы было дано... А кому это дано? – спросил он меня, улыбаясь. – Никому не дано-с еще, по настоящему времени судя... ха-ха! – закончил он, особенно внушительно подчеркивая слово дано, и затем, раскланявшись, тоже вышел.

Я взглянул на Катю: она сидела, низко наклонив голову к шитью, и нервно спешила закончить шов; все лицо ее и уши сплошь были залиты краской, вероятно, вследствие сильного внутреннего волнения; она не поднимала головы, очевидно стараясь скрыть от меня это волнение; но, наконец, не выдержала, усиленно стегнула два раза иглой и, кладя на стол работу, поднялась, выпрямилась во весь рост и вдохнула полной грудью лившийся в окно из сада свежий, ароматический воздух.

– Вы пойдете сегодня к Морозову? – спросила она меня деловым тоном и прищурила глаза, вероятно желая хоть несколько умерить их блеск.

Я сказал, что пойду.

– Пожалуйста, занесите от меня записку...

несколько строк. Я сейчас напишу.

Она быстро вошла в свою комнату. В полуотворенную дверь я видел, как она, взяв первый попавшийся листок бумаги, лихорадочно стала писать. Написав несколько строк, она отбросила этот листок и принялась писать на другом. Она сидела ко мне спиной, и я не мог видеть выражения ее лица; но краска все еще покрывала ее слегка загорелую шею. Наконец она вышла ко мне, читая на ходу.

– Вот, – заговорила было она. – Или нет... это бесполезно... этого мало!

Она быстро скомкала в руке письмо, сунула его в карман и, взяв со стола легкий шейный платок, накинула его на голову.

– Хотите, по дороге? – спросила она меня, слегка подвязывая платок у подбородка.

– С удовольствием. Вы куда же?

– К Морозову.

– Но ведь теперь самое жаркое время?

– Это мне все равно, я его должна видеть.

– Мы пойдем с вами здесь, – сказала Катя, выходя не на так называемое мужиками «парадное крыльцо» майорского дома, со стороны которого слышался шумный говор, а в

узенькие сени, из которых маленькая дверь вела в сад.

– Как вы думаете: не взять ли большой дождевой зонтик? Должно быть, очень жарко; да, пожалуй, и гроза соберется, – проговорила она, смотря из-под ладони на безоблачное небо. – Ступайте вот по этой дорожке. Я вас нагоню.

Я сошел в сад. Майорский сад был обыкновенный провинциальный садик, с кривыми полузаросшими дорожками, с полусгнившими деревянными скамьями, сплошь закрытыми крапивой, с густою травой, среди которой особенно высоко выдаются сочные дягили[15]; одна сторона сада сплошь заросла густым вишенником, над которым подымались корявые яблони с кое-где обломанными сучьями и берестовыми пластырями, подвязанными мочалками вокруг стволов; другая сторона была исключительно посвящена ягодам: густо разросшиеся кусты малины, смородины и крыжовника, подобранные снизу в перегородочки из старых драниц, так густо заростили представленную им местность, что поместившаяся было среди них молодая рябина, заглу-

шенная ими, стала сохнуть; только в дальнем углу густая древняя ель, вероятно оставшаяся от бывшего когда-то здесь леса, могуче подымала свою пирамидальную вершину и царила над всей окрестной растительностью, усыпав широкую площадку засохшими иглами и шишками; вокруг ее еще здорового смолистого ствола была сделана из трех скамеек беседка, тут же стоял треснувший от дождей и солнца, полинявший красный столик; на нем виднелся клубок ниток, вязальные спицы, книга и майорский табачный кисет; вероятно, это было любимое место, где собирались на мирную беседу все обитатели майорской колонии.

За садом начинались гуменники, обращенные в майорской усадьбе в огороды; длинные ряды гряд зеленели разнообразной сочной листвой, среди нее были разбросаны маленькие яблони и груши, как подростки, нуждавшиеся в обильном и жирном черноземе; подпертые козелками на хорошо взрыхленной и часто поливаемой земле, они, видимо, росли под бдительным надзором чьей-то заботливой руки; некоторые из них начинали уже

набирать плоды, и стая всякой прожорливой птицы усиленно нападала на них и на гряды с огурцами, нисколько не пугаясь старого майорского мундира, распяленного на кресте из кольев, и старого повойника Кузьминишны, венчавшего то место, на котором пернатые должны были предполагать строгую главу военного стража. Впрочем, строгий страж оказался теперь сам налицо, и в подобном же повойнике: в дальнем углу огорода я увидел Кузьминишну, которая с большим сухим суком в руках бегала между грядами, с азартом нападая и покрикивая необычайно строгим голосом на глумившихся над ней воробьев. Я подошел к ней; она выразила было желание вступить со мною в длинную беседу и, уже взяв за руку, потащила меня под заветную ель, как в это время нагнала нас Катя с большим распущенным парусинным зонтиком.

– Пойдемте, – торопливо сказала она.

– Да куда ты его тащишь? – запротестовала Кузьминишна. – Не успела я с ним и двух слов перемолвить.

– После, Кузьминишна, после. Нам нужно, – проговорила Катя, уже подходя к выходу.

Слышно было, что Кузьминишна что-то забормотала, но что – разобрать было никак нельзя; через минуту она уже начала вновь с сучком в руке военные действия против прожорливой птицы.

За огородом мы пошли с Катей по гладко протоптанной и обросшей по краям полевой ромашкой борозде, между озимым полем и паром. Катя мерной и уверенной поступью шла впереди меня, задумчиво наклонив голову и твердой рукой держа тяжелый старинный зонтик, с одного бока которого мерно прыгало большое медное кольцо.

Было время послеобеденного отдыха, и отчасти поэтому, отчасти вследствие томящего зноя кругом не было видно ни одной живой души. Над высохшим и трескавшимся на солнце паром изредка пролетали один за другим вороны, пристально высматривая полевых мышей. Во всей окрестности чувствовалась томительная тишь, и в воздухе проносились только редкие звуки то скрипевших где-то далеко колес, то фыркание лошади, бродившей в ближайшем овраге, то шум от пронесшейся стаи галок да карканье вороны, усев-

шейся на брошенную среди пашни борону. Мы шли несколько времени молча.

– Ах, я вас совсем замучила... Посмотрите, что с вами: на вас лица нет! – вскрикнула Катя, обернувшись ко мне.

Действительно, я изнемогал от жары.

– Давайте руку, теперь недалеко, – сказала она и, не дожидаясь моего согласия, взяла меня под руку.

Поднявшись из оврага, мы очутились у старого полусгнившего и кое-где уже растасканного, вероятно, крестьянами на дрова забора из толстых кольев, окружавшего морозовский сад. Мы не стали обходить его, а прямо прошли в отворенную калиточку, заросшую бурьяном, сквозь который пробита была свежая тропа.

Из чащи густо разросшихся деревьев повеяло свежестью; несмотря на жар, воздух здесь был влажен, вероятно, от находившегося невдалеке пруда, сплошь покрытого зеленью. Эта часть сада была запущена и мало кем посещалась, что заметно было по той безбоязненности, с какою поместились здесь на житье целые колонии ворон, грачей и га-

лок, унижавших гнездами старые вязы. Сопровождаемые карканьем, мы вышли в другую часть сада, где уже были заметны следы культуры: расчищенные дорожки были усыпаны песком; по бокам их кое-где виднелись цветочные клумбы; попадались скамейки, запрятанные в глушь сиреней, брошенные грабли, валявшиеся на боку лейки. Наконец мы свернули на главную аллею, примыкавшую к барскому дому. На террасе мы заметили Лизавету Николаевну, сидевшую за столом, уставленным мисками и блюдами, и отбиравшую ягоды. Она нас не заметила, пока Катя, оставив мою руку, не вбежала быстро на лестницу террасы. Лизавета Николаевна вздрогнула и смешалась.

– Извините, что мы прошли здесь... Так ближе... Петр Петрович дома? – спросила Катя, наскоро пожимая ей руку.

– Да, дома. Кажется, он там... в комнатах.

– Могу я его видеть?

– Да, конечно. Отчего же! – заминаясь, говорила, все еще не успевши прийти в себя, Лизавета Николаевна, вытирая перепачканные красным соком руки.

Катя сдернула с головы платок, слегка поправила волосы и вышла в залу.

– Здравствуйте! Я вас и не заметила, – сказала Лизавета Николаевна, протянув мне руку. – Садитесь... или, может быть, и вы хотите туда, к мужу? – спросила она, стараясь не смотреть мне в лицо.

Я сказал, что останусь с ней, и сел возле перил. Сначала мы молчали, затем перекинулись несколькими пустыми фразами о погоде, о кое-каких общих знакомых – и снова замолчали. Лизавете Николаевне, казалось, чувствовалось несколько не по себе. Движения ее были нервны, порывисты. Наконец она крикнула девушку, заставила ее отбирать ягоды и спросила: «Барин у себя, в кабинете?» Белобрысая, лет двенадцати девушка, с растрепанной короткой косичкой на затылке, отвечала, что он в саду и что барышня прошла через другое крыльцо туда же.

– Пойдемте и мы в аллею, – пригласила меня Лизавета Николаевна. – Здесь душно.

Мы тихо спустились с террасы и так же тихо пошли к аллее. Я заметил, чем ближе мы подходили к ней, тем медленнее ступала Ли-

завета Николаевна; казалось, она нарочно задерживала шаги.

– Не правда ли, как у нас хорошо здесь? – сказала она, когда мы вошли под густую сень древних лип, как будто дремавших в приятной истоме, опустив неподвижные ветви, на которых не шелохнулся ни один лист. Так неподвижно, пригретые солнцем, дремлют на завалинках дряхлые деревенские старцы, и в их жилах медленно движется спокойная, старческая кровь. – Если бы всем можно было жить так же, как мы! – продолжала она. – Сколько свободы для любимых дум, для любимой работы, без мысли о давящей нужде, о куске насущного хлеба! Знаете что? Если еще теперь невозможно это дать всем, всем, то я, по крайней мере, эти мирные, заветные уголки предложила бы нашим работникам мысли, этим беднякам, изнывающим по душным меблированным комнатам столиц, по чердакам и подвалам... Как вы думаете, хорошо бы это было? Сколько сократилось бы тогда надорванных грудей, преждевременных смертей! Сколько сохранилось бы для родины драгоценных созданий мысли и фантазии!

Я смотрел на Лизавету Николаевну: она говорила совершенно серьезно; ее глаза смотрели вдаль и, казалось, ясно видели уже перед собой этот будущий приют работников мысли.

– Вот вам пример: Петя... Сколько даром потрачено было им сил на борьбу с нуждой! Он должен был разменивать свой ум, свои знания на мелочь... А теперь...

Но она не договорила; из глубины аллеи донесся до нас громкий, резкий голос Кати, вероятно говорившей с Петром Петровичем. Лизавета Николаевна вздрогнула и замерла, невольно вслушиваясь в этот голос.

– Зачем вы меня обманули? Вы меня обманывали? – спрашивала Катя, несколько понизив голос. – Вы – мой учитель?

– Нет, я вас не обманывал, – глухо отвечал Петр Петрович.

– Что же вас держит здесь?.. Зачем вы живете в атмосфере этого расслабляющего общества? Вы полюбили эту жизнь, а сами... сами чему вы учили меня?..

– Нет, я не люблю этой жизни!

– Но что же вас держит здесь?

Лизавета Николаевна медленно и как-то автоматически подвинулась вперед.

Я взглянул на нее: она была бледна, в лице ни кровинки, глаза лихорадочно заблестали.

– Что с вами? – спросил я, взяв ее за руку (руки были влажны и холодны).

– Ах, эта... ужасная девушка! Зачем она... зачем? – прошептала Лизавета Николаевна и, закрыв лицо руками, бросилась от меня, заглушив рыдание, обратно к террасе.

Я не хотел смущать ее своими услугами – и остался. Невдалеке от меня была старая, сгнившая скамейка. Я присел на нее.

Вдруг как-то стало совсем тихо; стрекотавшие в траве кузнечики замолкли все разом, словно по уговору; стая воробьев, щебетавшая на одной из соседних лип, мгновенно поднялась, прошумела крыльями и пропала куда-то. Из чащи не слышно было никакого звука. Вероятно, Катя и Морозов прошли по нерасчищенной дорожке, вившейся в чаще деревьев, дальше. Мне не хотелось уходить; почему-то думалось, что я еще услышу ответ Морозова. Скоро действительно до меня долетел невнятный говор; послышалось хрусте-

ные валявшихся сухих веток, шуршанье платья о траву.

– И вы можете так жить? – донесся до меня голос Кати. – От скуки повторяя зады, которые давно потеряли смысл?

– Тяжело, но жить нужно, – отвечал Морозов.

– Нет, так нельзя!.. Это неправда! Вы только хотите прикрыться этим. Вы, не замечая, может быть, сами, с каждым днем все дальше уходите от тех, среди которых вы родились. В вас глохнет инстинкт правды; вы утратили чуткость сердца. Да, вы меня обманывали!

– Вы слишком строги ко мне, – глухо проговорил Морозов. – Вы слишком строги, – повторил он после небольшого молчания. – Я не обманывал вас, покуда верил... Но теперь...

– Да? – переспросила Катя, не дав ему договорить. – Ну... так вы еще придете... если вы честны! Иначе – невозможно жить...

Из-за деревьев показалось платье Кати, но тотчас же опять пропало. Вероятно, она вернулась...

– Знаете ли, – заговорила она тихо, – вы... вы берете на себя большой грех!

– Я?

– Да, вы, своим малодушием, своим сомнением. Вы не можете не знать, что я привыкла верить в вас, идти с вами рука об руку. Я не могу оставить вас, – я нравственно связана с вами!.. Вы должны решить. До свидания!

Из чащи показалась Катя; ее щеки пылали; она шла торопливой, ровной походкой, приложив левую руку к разгоревшемуся лбу; глаза ее были опущены в землю. Подойдя к скамье, на которой я сидел, она безучастно и равнодушно взглянула на меня и, не останавливаясь, не сказав ни слова, прошла мимо.

Глава шестая Назамужницы

После первого знакомства я стал очень часто, не только что ежедневно, но раза по два в день, заходить в полубарский выселок. Старая Кузьминишна связывала меня с ним все сильнее, почти родственными узами, и меня что-то тянуло к майорской колонии, едва я успевал утром протереть глаза. Я перестал пить парное молоко у своей хозяйки и договорился насчет его с Кузьминишной; я стал даже очень редко навещать Морозовых. Я полюбил всей душой майорский садик с его древней, могучей, одинокой елью, величественно царившей над окрестною зеленью, с лавочками под ее густо и тяжело нависшими ветвями, от которых лился здоровый смолистый аромат. Я любил лежать на копне скошенной травы, у ее массивного ствола, смотреть сквозь ветви на голубое, чистое, как бирюза, небо, внимать мерному, добродушному ворчанью Кузьминишны, обыкновенно сидевшей рядом на лавочке в своих оловянных

очках, и слушать постукивание и потрескивание деревянных спиц, которыми она вязала какую-то бесконечную штуку. Детством, самым ранним, самым зеленым, пахнуло на меня, и моя изболевшая грудь сладко отдыхала в этой мирной истоме. Ничто не нарушало этого покоя, ничто не тревожило моей груди. Напротив, мне чрезвычайно нравилось, когда кто-нибудь завертывал в этот уголок: то майор придет, весь в поту, в пыли, красный, но живой, деятельный; присядет на угол лавки, сострит что-нибудь на наш с Кузьминишной счет, набьет трубку и долго сопит ею; то Кузя забежит «на одну секунду», бросит мимоходом какой-нибудь афоризм собственной философии, вроде того, «что ежели, по настоящему времени судя, то самое лучшее – отрешиться, – потому везде – единственно, как мамон, и более ничего!» Приходила к нам и Катя, улыбалась нашим «собеседованиям» и, полузадумчиво-рассеянно помахав зеленой веткой в лицо, порывисто опять уходила куда-то.

По уходе ее на меня почему-то постоянно наплывали целые вереницы мыслей, вопросов, недоумений и до того овладевали мною,

что я часто ничего не слышал из болтовни Кузьминишны, даже не замечал, когда она уходила. Да, я стал замечать, что, помимо Кузьминишны, помимо той невыразимо умиряющей душу истомы, в которой отдыхал мой больной организм, меня влекло к майорской колонии что-то другое, еще более сильное: это был образ загадочной девушки с глубокими карими глазами, в которых светилась не понятая еще мною, не поддававшаяся точному анализу и определению «идея», одушевлявшая этот образ, придававшая ему особый, таинственный смысл. И вот, совершенно непреднамеренно, незаметно для самого себя, я стал старательно наблюдать за Катей. Разговаривая с Кузьминишной, я всегда как-то невольно сводил разговор на Катю. Кузьминишна, впрочем, этого не замечала, так как и сама имела слабость кстати и некстати болтать о своей питомице.

Помню, как-то раз зашла Катя в сад, улыбнулась нам, присела на скамью и стала играть с большим дымчатым котом, неизменным спутником и любимцем Кузьминишны, пригревшимся на солнечном пятне. Мы смот-

рели на нее.

– Что же вы замолчали? – спросила Катя, оставляя кота. – Разве я вам мешаю?

– Ну, матушка, уж ты-то не мешаешь! Бог знает, что с тобой поделалось. Нет, чтобы посидела с людьми да поговорила, а то сидит одна али ходит бог знает где! – ворчала Кузьминишна.

– Да о чем говорить? Говорить-то не о чем. Обо всем уже давно переговорили.

Нужно заметить, что Катя не говорила со мною еще ни разу так, как в день первого знакомства: она действительно как будто считала, что уже тогда слишком многое сказала, так много, что больше говорить нечего и незачем. Это часто бывает с сосредоточенными и порывистыми натурами: то они неожиданно выложат пред вами всю душу, помимо вашего ожидания и часто помимо собственного желания, то вдруг сделаются к вам холодны, равнодушны, недоверчивы, – и тем холоднее, чем сильнее, чем жарче был первый сердечный порыв.

Кузьминишна совсем разворчалась, а Катя опять присела к коту и стала щекотать его

веткой. Затем она с обычной своей порывистостью поднялась, сняла с шеи платок и накинула его на голову.

– Я ухожу, Кузьминишна. Приедет папа обедать – меня не ждите, – сказала она. Лицо ее сделалось опять так внушительно-серьезно, что, казалось, никакие возражения не могли иметь для нее значения.

– Ну, опять пошла егозить, – буркнула Кузьминишна. – Да ты скажи хоть, куда идешь-то? Чай, по избам бродить с этой... с Морозихой?

– Да, к ней... До свидания, – обратилась Катя ко мне. – Я вас, наверное, завтра опять увижу здесь... Вы позволите, мы будем уже по-родному: я не стану постоянно повторять вам «здравствуйте да прощайте!» Как-то смешно выходит.

– Нет, не могу согласиться, потому что тогда вы со мной совсем уже перестанете говорить.

– Когда будет о чем говорить, так наговоримся.

Она улыбнулась и скорою походкой пошла через огород в поле.

– Егоза, как есть настоящая егоза! – опять заговорила Кузьминишна. – Яблочко от яблони недалеко падает: вся в отца, вылитая! У того, даром что до седин дожил, а еще все зуда-то не прошла; и она по нем идет. Спокойна была, как приехала, год прожила: сидит себе да книжки читает... ан, хватъ-похватъ, и проговорила: «Я, – говорит, – хочу в лекаря учиться, в бабки это мало...» И отцу так сказала: «Только, – говорит, – я уж теперь не одна поеду, а с тобой вместе там жить будем...» Ну, старый хрыч и рад!

– Так они скоро едут совсем отсюда?

– Чего тут – едут!.. И сама теперь не пойму... Старый и то все думал, что поедут... И не разберу уж!..

– А она раздумала?

– А уж и не знаю... Вот ведь она – какой крепыш, настоящий кремень! У не тоже скоро-то ни до чего не достукаешься... Один раз только проговорила; пришла этта такая задумчивая, весь день молчала, да уж ночью со мной и разговорила... Проснулась я, дай-ка, думаю, посмотрю, откуда это так свежо дует, – а она сидит в одной юбке да в кофточке на

окошке, растворила его... «Чего ты, – говорю, – не спишь?» – «Не спится, няня, бессонница...» Тут и разговорилась со мной... «Я, – говорит, – пока подожду ехать учиться...»

– А кто это Морозиха?.. Сестра Морозова?

– Она самая.

– Я, кажется, видел ее раза два у них.

– Она не живет с ними. Брат-то с женой сердятся на нее за это; уговаривают, чтобы с ними жила, а она не хочет. Знамо дело – мужичка она, так мужичка и есть. Ведь Морозов-то из мужиков, только теперь, как науки произошел, в баре попал...

– Что же она делает такого, что ты как будто недовольна знакомством с нею Кати?

– Ничего она дурного не делает... Незамужница она... «перехожая»...

– Какая это «перехожая»?

– А так... Есть у нас такие девки, ежели которые грамотны, что из семей уходят. Возьмет – уйдет да и начнет ходить из деревни в деревню, из избы в избу, ребят учат, по покойникам читают, а то заодно с девками в свечелках работают, ткут. Есть из них всякие: одни для бога идут, а кто из паскудства. Ну, этих

мужики к своим ребятам не допускают. Про Морозиху грех что-нибудь сказать, даром что девка – кровь еще с молоком... Всякий тоже видит, что от довольства ушла по своей воле, для бога. Ну, только все же – мужичка! Мало что нашей сестре хорошо!..

– По-моему, Кузьминишна, что вашей сестре хорошо, то и нашей – тоже...

– Бывает, бывает... Так уж тут и определи себя так: хочешь богу служить – и служи... Тут уж божье произволение, значит; тут уж свыше дано.

Кузьминишна попала на свою любимую тему о «подвижниках». Она говорила долго; речь ее делалась то торжественной, то скорбящей, когда она приходила к заключению, что в наши времена все меньше и меньше становится подвижников и что им теперь «не надо проявляться».

– Ну, а если проявится? – спросил я.

– Дай господи! – торжественно произнесла Кузьминишна.

Я не смотрел на Кузьминишну; я только слушал, как лилась ее речь, а в это время перед моими умственными очами носился в ка-

ком-то полутаинственном, неопределенном очертании фантастический образ подвижника...

– А что, Кузьминишна, ты когда-нибудь говорила вот так... как теперь... с Катей?

– Много я ей, глупая, наговорила всякого... Да ведь и то сказать: кто знал, что она такая!..

– А что Башкиров? Часто она у него бывает?

– К нему-то она не ходит, а к матери... ну, да это так только! Чего ей в нас, старых! У ней тут все свое на уме; со всеми перезнакомилась, кто к лекарю-то ходит. А недавно вот целых два дня пропадала; ждали-ждали, гадали-гадали, куда ушла, так мы со старым ни до чего и не додумались. А это она к мужичонке одному ходила: так мужичок, из самых-то что ни на есть плохоньких, на десятой версте отсюда живет, в деревеньке... Тихий такой мужичок: от земли отбился, на охоту ходит да с лекарем приятельствует...

– А где теперь чаще можно застать Морозову?

– Ее-то? Верно, она теперь у келейниц живет... Чай, помнишь, в дом-то ваш муку вози-

ли две девки, деревенские девки... Одну-то Павла зовут, другую – Аксентья... Али забыл?

Я старался припомнить.

– Это суровецкие?

– Вот-вот, оне самые... Пять верст от нас Суровка-то всего...

– Так я побываю у них...

– Побывай и то... Девки хорошие, старые уж теперь стали, а все еще куды бойки! По всем поселеньям у нас здесь гремят. Начальству всему известны, самой даже губернаторше их предоставляли: вот, дескать, какие у нас бабы проявляются по деревням! А народ мимо их не пройдет, не проедет, чтобы не вернуть: хорошее слово али совет услышать. Сходи, от меня поклонись, – может, вспомнят!

* * *

На другой день я шел по направлению к Суровке. Слова Кузьминишны вызвали в моей памяти ряд образов и картин, давно когда-то волновавших мою ребячью душу.

Припомнился мне наш маленький провинциальный домик, с засоренным и плохо прибранным садиком позади, с маленьким двором между домом и сараем. Я особенно

любил и этот уютный двор, и этот садик ранним-ранним утром. Бывало, проснешься случайно раньше обыкновенного – и выйдешь: тишь кругом (в особенности меня очаровывала эта тишь); никто еще из людей не копошится, не кричит, не суетится; не слышно еще этой бестолковой провинциальной сутолоки жизни, которая так нарушает днем общую гармонию в природе. И вот среди этой тиши постепенно пробуждается жизнь: поперек двора лежит еще густая тень, и только противоположная стена вся уже залита утренним солнечным светом; я силюсь увидеть солнце, поднимаюсь на цыпочки, но не могу, – оно еще скрывается от меня за крышей. Вот выпорхнул из слухового окна петух и, усевшись на конец крыши, захлопал крыльями и заорал на всю улицу; ему тотчас же ответили его единоплеменники, и несколько времени в разных концах слышалось их перекликанье. Мерной, неторопливой походкой, поклохтывая, вышли из курятника куры, сотни цыплят рассыпались по двору, расправляя маленькие пушистые крылья. Дворняжка Орелка почуяла меня и, выставив из окна ко-

нуры две передние лапы, прищуриваясь, понюхала воздух и, наконец, лениво потягиваясь, вылезла вся.

В хлеву промычал теленок, и его рыжая, с белыми пятнами, голова высунулась между перекладинами, задвигавшими хлевное окно. Я, весь объятый какой-то особенно приятной дрожью, весь проникнутый невыразимо теплыми и нежными ощущениями, конечно, не забывал приласкать и Орелку, и теленка. А в саду было еще лучше. По мокрой траве лежали длинные тени от яблонь; через забор, сквозь густые вязы и липы, пробивались целые снопы лучей и, разбившись о густую листву, рассыпались золотом по траве и блестя изумрудами в каплях росы. Ни вороны, ни галки с их дисгармоническим карканьем не просыпались еще. Но зато утренние птицы уже давно приветствовали солнце.

Мне вспоминается воскресенье, и я уже слышу доносящиеся до меня откуда-то очень издали особенные, присущие воскресному дню звуки: мерное поскрипыванье лениво катящихся колес, иногда редкое фыркание лошади, изредка – тихий окрик возчика. Это –

крестьяне, едущие в город на базар из дальних и ближайших деревень: это от их возов слышится скрип, а вот скоро потянуло и дегтем, который так резко поражает обоняние в утреннем воздухе. Я почему-то был всегда равнодушен и к этому колесному скрипу, и к этому дегтярному аромату. Скрип и запах дегтя становятся все слышнее: возы уже проезжают мимо дома. Мы с Орелкой выбегаем на улицу. Мимо нас, слабо поднимая пыль, медленно тянутся телеги, летние роспуски [16], плетушки и одноколки, мерно покачиваясь на колесах и поталкивая дремавших, спустя ноги, мужиков и баб. Это, вероятно, крестьяне очень дальние, верст за пятьдесят, которые ехали, не спавши, целую ночь. Усталые лошади, понутив головы, ступают тоже медленно; за возами идут лениво привязанные к задам телеги коровы, изредка пытаюсь натянуть бечевку и оторваться; с некоторых возов глядят добрыми большими глазами головы телят. Проснувшиеся бабы начинают креститься на виднеющиеся вдали колокольни, «прибираются», повязывая головы красными платками. Весь поезд, возов в пять – десять,

тянется лениво, и только два жеребенка оживляют это путешествие, позвякивая весело бубенцами да перебегая с одной стороны улицы на другую. Не успел еще скрыться с глаз первый поезд, как уже издали снова слышится скрип и запах дегтя и свежего сена, – и новый ряд возов тянется за первым. Но мы недаром стоим и ждем с Орелкой. Из-за поворота улицы появляется новый ряд возов, и вот едва они успели поравняться с нами, как из середины их отделяется знакомая сивая старая кобылка с поблекшими серыми, добрыми и вечно унылыми глазами; грубо покрикивая на нее, две сидящие в телеге женщины направляют к воротам нашего дома. Я и Орелка весело бросаемся к подъезжающим.

– На-ткась, на-ткась, кто нас повстречал!.. Вот уж не ждали, не гадали! Да чего это ты, родной, встал так рано? – ласково приветствуют меня приезжие женщины, выскакивая неторопливо из телеги. – У нас ребяташки по деревням – и то еще спят об эту пору...

– Хорошо очень утром-то! – отвечал я, ликуя, что мне удалось перещегоолять даже деревенских ребяташек.

– Хорошо, родной! Здорово эдак-то вставать. А папенька с маменькой здоровеньки ли?

– Здоровы, ничего; все здоровы.

– Ну и слава те господи! Мы вот вам мучки привезли, заказывал тогда папенька-то. Первая мучка, только что смолота. Вот на-ко тебе деревенского гостинчику, испробуй. Из этой самой мучки лепешку спекла, кушай во здравие.

И женщины тащили откуда-то из глубины телеги вывалянную в сене лепешку и совали ее мне, с прибавлением двух каленых яиц с полуоблупившеюся шелухой. Я не могу уже теперь передать ясно те ощущения «деревни», которые тогда охватывали меня всецело, но помню что-то невыразимо приятное и в поглаживании заскорузлых рук, которыми нежили меня крестьянки, и в прикосновении теплых побелевших старых губ сивки, которыми любезничала она со мной, когда я гладил ее голову. Что-то невыразимо вкусное было и в этом особенном запахе «деревни», который вдруг наполнил весь наш маленький дворик, когда телега была введена в ворота, и

в этой серой, крутой, разрисованной крестиками и кружочками большой деревенской лепешке из «первой мучки». Но всего яснее, всего резче врезались в мою память образы этих двух женщин. Случалось, когда они были заняты чем-нибудь и не обращали на меня внимания, я долго, молча, наблюдал над ними, всматриваясь в их грубые, загорелые лица, в их мерные, медленные движения, когда они таскали на спинах трех-четырепудровые мешки. Я вслушивался в их тягучую, размеренную, вежливую, но неподобострастную речь, когда они говорили с моим отцом. Из своих наблюдений прежде всего я вывел одно: что эти женщины не были женщины, как я представлял их по окружавшим меня, что они если и женщины, то совершенно «особенные», как, например, совершенно особенными представлялись мне женщины Новой Гвинеи или Африки, которых я рассматривал в Живописном обозрении. И на такое представление я имел много данных. Так, например, я привык видеть наших городских женщин непременно в качестве подспорья: я не мог иначе представить их себе, как именно чьей-

либо женой, сестрой, дочерью, матерью, непременно служащей, покоряющеюся, подчиняющеюся отцу, брату, мужу, чаще всего мужу. Если я встречал какую-нибудь женщину из городских, то в моем уме сейчас же, по ассоциации представлений, рисовался образ ее супруга, сообразно тому выражению, какое носило ее лицо. Здесь же не было ничего подобного. Чем больше я всматривался, чем ближе наблюдал этих женщин, тем окончательно терялась для меня всякая возможность представить возле них мужика. Он при них совершенно делался ненужным. Кажется, не было для них такого положения, такого затруднения, с которым они не управились бы сами и при котором нужно было бы понуканье или помощь мужика. Вот эта-то именно черта и выделяла их в моем уме из всех прочих женщин, это-то соединение в одном лице того, что во всей окружающей меня обстановке было немыслимо, в особенности и поражало мое воображение, заставляло меня причислять их к какому-то особенному миру, жившему совершенно иной жизнью. Я приведу только один случай, который помню осо-

бенно хорошо и который еще более укрепил во мне такое представление. Нужно, впрочем, кстати заметить, что одну из них звали Павла (сама она звала себя «Павлия»), а другую – Аксентья (что это за имя и существует ли такое в календаре, я не знаю, но ее все так звали, хотя оказывалось, что она была крещена Секлетеей); обе они были девки, каждой лет около тридцати, почти одногодки. Вместе они были известны под названием «келейниц».

Однажды, когда они таким же образом заехали к нам в дом свалить пуда два муки, умыться, «прибраться» и затем поспешить на базар, я попросился ехать вместе с ними. Они согласились, посадили меня на передок телеги и, к моему величайшему удовольствию, дали в руки вожжи, которыми, впрочем, я ничего не мог поделаться, так как сивка не выражала ни малейшего желания не только идти вскачь, как мне хотелось, но даже прибавить шагу. Впрочем, после нескольких напрасных попыток я стал очень нежно править, так как крестьянки постоянно мне замечали, что их «сивушку» забижать не следует, что она сорок верст без отдыху прошла и т. д.

Скоро добрались мы до базарной площади, где кипела уже жизнь, несмотря на раннюю пору. Приехавшие крестьяне выбирали места; заспанное начальство хрипло покрикивало на них, уставляя воза «по ранжиру»; поместились и мы около казенных весов. Павла и Секлетя сейчас же захлопотали: распустили у лошади хомут, бросили ей связку сена, затем вытащили три мешка с мукой и горохом и поставили у колеса телеги. Не прошло и полчаса, как базар загудел. Появились городские покупатели. Все шумело, кричало, волновалось. Кричали и шумели Павла и Секлетя с покупателями, но не теми пискливыми голосами, которыми пронзительно оглушают наши городские торговки, а грубыми, мужицкими, резонно-наставительными речами. Они бились из каждой лишней копейки на меру, из каждой полушки, которую приходилось сдавать покупателю; из-за этой полушки они бегали по соседним продавцам, по лавочкам, чтобы разменять деньги и не дать покупателю случай утянуть у них целую копейку, пользуясь неимением сдаточной полушки. Иногда то Павла, то Секлетя уходили

надолго и ворочались с какой-нибудь покупкой: лоханкой, оглоблей, связкой веревок. Так прошло часа два. Я уже сильно затамился и совсем было задремал под однообразный базарный гул, как вдруг позади меня раздался крик, шум, хохот. Я обернулся и увидел, что уже лошадь наша заложена, мешки и покупки сложены в телегу, а Павла и Секлетя, окруженные огромной толпой, бегут куда-то, крича: «Держите, держите, православные!.. Куцавейку стащил проходимец-то!»

– Лови, лови его, бабы!.. Ха-ха-ха! – покрикивал вслед им базар.

Скоро я увидел, как Павла и Секлетя нагнали какого-то пьяного, с глупым лицом парня, тащившего под мышкой куцавейку. Они ухватили его за руки и повисли на них. Парень стал выбиваться, ругая и грозя, но куцавейки не отдавал. Вдруг, к моему изумлению и к удовольствию всего базара, на парня посыпались удары все чаще и чаще; наконец он был сшиблен с ног, Павла и Секлетя вцепились ему в волосы, сидели на нем верхом и кричали: «Отдай, оглашенный, честью! Отдай, говорят, не то, не ровен час, тут и жизни

твоей конец!»

– Ха-ха-ха!.. Важно! Ну, бабы... Лихо!.. Эдакой бабе попасться в лапы, что черту!.. – поощрял базар.

У парня, наконец, была вырвана куцавейка, но он, вырываясь, изорвал на Павле и Секлетее сарафаны и рубахи.

– Нет, ты погоди, оглашенный! Ты не буйствуй! На твое буйство начальство есть! Ах, оголтелый!.. Благо силен – так думает, на него и управы нет!.. Думает, что бабы – так и обижать!.. Ах, обидчик! – покрывали базар голоса Павлы и Секлетеи, которые наскоро скрутили парню назад руки и, завязав их кушаком, потащили его к своему возу. Парень, красный от стыда, глупо глядел на толпу и, подталкиваемый сзади Секлетеей, шел за Павлой, которая вела его впереди за пояс, как барана.

– Ах, грех какой!.. Ах, грех какой! – повторяла запыхавшаяся Павла на ходу.

Когда они подошли к возу, парень опять было выразил намерение вырваться, но его опять удержали...

– Нет, нет, постой... Теперь нам по дороге... Нет, ты нам выплати, что требуется...

– Так, так, бабы! Веди до конца! Не отпущай! – опять поощрял базар.

И вот через несколько минут мы двинулись. Павла и Секлетя, стоя по бокам парня, крепко держали его за руки, а другой рукой Секлетя вела под уздцы сивку. Я восседал на телеге и торжественно ехал за ними, перебирая вожжами.

Базар проводил нас поощрительным гамом и смехом. Скоро мы подъехали к полицейскому управлению. Я остался с лошадью, а Павла и Секлетя ввели парня в канцелярию. Немного спустя вышла Секлетя, и мы с нею вдвоем отправились домой, оставив Павлу вести «судное дело».

Был уже довольно поздний вечер, когда я подходил к Суровке. Я, впрочем, нарочно рассчитал прийти к тому времени, когда мои «келейницы», управившись с дневной работой, должны были отдыхать дома. Суровка – большое некогда барское сельцо – растянулась на целую версту вдоль бойкой «столбовой» дороги, на берегу довольно большой реки, среди заливных лугов с одной стороны и большого леса – с другой. Несмотря, впрочем,

на такое приволье, Суровка была замечательно бедна. Большинство изб в ней или окончательно развалились, или пустуют с провалившимися крышами, разбитыми окнами и голоторчащими вблизи столбами, остовами деревенских служб, или же так малы, дряхлы и неприглядны, что тяжело было смотреть на эту «голь вопиющую»; в особенности поразителен был контраст между ними и несколькими новыми деревянными и каменными домами, крытыми железом, с резьбой в русском стиле, с вычурными флюгерами на дымовых и водосточных трубах. А между тем и эти малые, хилые, неприглядные избы, крытые соломой, и эти если не дубовые, то все же довольно плотные терема, как-то нахально мозолившие глаза своей узорчатой пестротой, охраняли под своим кровом ту же крестьянскую «душу», принадлежали тем же суровецким крестьянам, прадеды которых некогда «обща осели» на этом привольном месте, а дети их и сами они принадлежат одному «обществу», хранят, по крайней мере формально, традиции пресловутой сельской общины, оставленные им теми же «обща осевшими»

здесь прадедами-колонизаторами, расчищавшими первобытную почву и строившими одинаково однообразную избу «для всех вопче»...

Красный шар заходящего солнца, словно разрезанный на две половины узкой облачной полосой у горизонта, медленно катился к лесу. Деревенская улица была еще шумна. Кое-где запоздавшие бабы загоняли потерявшихся овец и коров. Больше всего были оживлены крестьянские ребяташки, рыскавшие по улице верхами на лошадях, сбивая их в «ночное». Кучки малых девчат стояли на дороге и завистливо смотрели на гарцевавших братишек, в тайном томлении от ожидания, когда они отзовутся на их просьбы и, посадив впереди себя на шею смиренного бурки, лихо прокатят их по улице. К первой попавшейся мне такой кучке обратился я с расспросами о «келейницах».

– А где бы мне у вас тут тетку Павлу да Секлетею найти?

– Это бабушки будут – Павла да Секлетья-то – вот кто!.. – поправили меня девчонки.

– Да, да, это верно, что теперь они – бабуш-

ки... – поправился я. – Так вот их-то мне и нужно...

– Коли тебе нужно, так мы тебя проводим. Они вон у нас там, на тыку, живут.

– Ну, проводите. Я вам за это целый пятак дам на пряники, – поощрил я.

– Подем, подем! Мы все тебя за пятак-то проводим! – зашумела куча и побежала, обступив меня со всех сторон. Некоторые даже пустились несколько вперед, вприпрыжку. Самая малая из них, с растрепанной головой и большим вздутым животом, с тонкими грязными ногами, старалась забежать вперед меня и посмотреть мне в лицо; ей, видимо, хотелось что-то сообщить мне.

– А они от нас уйтить хотят, баушки-то! – наконец удалось ей выкрикнуть, рискуя упасть мне под ноги.

– Отчего так?

– Гонют их. – Кто?

– На миру!.. Богатеи гонют.

– Пашка!.. Перестань!.. Замолчи!.. – закричали на малую солидные старшие. – Экая долгогривая!.. Космы-то длинные, а ума нет!

– За что же это? – спрашивал я.

– А они, богатеи-то, говорят: больно ишь старухи-то супротивны.

Но девчурке не дали продолжать, и одна, постарше всех, схватила ее из-за моей спины за рукав и оттащила назад...

– Поговори еще!.. Не видишь рази – чужак он! Кто его знает! Может, подослан! Тятко-то вздерет тогда!.. – наставительно и строго шептали сзади меня.

Я обратился с расспросами к старшим, но они как-то испуганно все спрятались за меня. Вдруг разговаривавшая со мною малая девчурка вырвалась от сдерживавшей ее толпы сверстниц, отбежала на середину улицы и храбро прокричала оттуда мне: «Баушка-то Павла недавно в темной сидела! Она самому старшине[17]...»

Но тут вся куча, шумевшая вокруг меня, как стая воробьев, бросилась за девчуркой. Девчурка, выпятив еще больше свой живот, со всех ног побежала от них, заливаясь на всю улицу пискливым смехом.

Посередине Суровка пересекалась широким переулком, делившим ее с давних времен на две значительно различные полови-

ны: на одной жили преимущественно бывшие помещичьи крестьяне, на другой – государственные, или, как говорят мужики, казенные. С одной стороны этого переулка находился небольшой, грязноватый и полузаросший прудок; около него лежала на козелках водопойная колода, а близ нее было брошено большое старое бревно. Это старое бревно, вероятно, искони было сидалищем деревенских старцев, около которых собирался мир и часто толковал о своем житье-бытье. Около него и теперь собралась толпа. Проходя мимо, я рассмотрел человек пять стариков, сидевших на бревне; в кружок около разместились мужики помоложе: кто, сидя на корточках, ковырял задумчиво щепкой землю, кто просто сидел на траве, поджав ноги, кто стоял, переваливаясь с ноги на ногу или медленно переходя с одной стороны сборища на другую. Все они слушали кого-то, изредка вставляя односложные замечания.

– Вот она, баушка-то Павла, со стариками говорит! – показали мне девчонки на высокую, сгорбленную и сухую женщину, с черным платком на голове, в синем крашенин-

ном сарафане и лаптях, стоявшую среди толпы пред стариками.

— А вона и келья ейная тут! Вона, на пригорке-то!.. Ступай, теперь сам найдешь!

Подойдя к угольной избе и никем не замеченный, я стал вслушиваться в мирской говор. Сначала я никак не мог понять, о чем шла речь, и только внимательно следил за Павлой, на которой было сосредоточено общее внимание.

Как изменилась она! Как тяжело осели на ней тридцать лет безустанной рабочей жизни! Я едва мог признать в ней ту высокую, здоровую, мускулистую девку, которую знал я в детстве. В ее наружности теперь было еще меньше женственности, чем прежде. Она, казалось, ничем не отличалась от стариков, сидевших на бревне, кроме костюма. Рубашка висела мешком на ее загорелой, сухой, впалой груди, из впадины которой резко виднелся большой осьмиконечный медный крест, висевший на суровом шнурке; сумрачно-сердитые глаза смотрели из-под седых бровей; сухой, длинный нос выдавался вперед между глубокими складками щек, а на костлявом

подбородке выросло несколько седых волос. Несмотря на это, несмотря на ее согбенную горбом спину, несмотря на то, что в ее цепких, длинных руках был посох, в ней не чувствовалось ни упадка сил, ни старческой дряблости. Напротив, ее грубоватый, почти мужской голос раздавался замечательно резко и сильно. Я заметил даже, что теперь этот голос производил особенное впечатление на мирян: они все при словах Павлы чувствовали себя как-то не по себе, чем-то сильно смущались и старались не глядеть ей в глаза. Я, должно быть, пришел уже к концу мирской беседы, потому что скоро все замолчали, даже Павла, как замолкают люди, когда уже исчерпали весь материал по данному вопросу, но решение еще не успело сложиться, а каждый в уме подводил итоги.

– А засим честному миру кланяемся... От нас ему последнее слово сказано!.. Прощенья просим! – проговорила Павла и с суровым взглядом поклонилась в обе стороны в два приема.

Мужики смущенно молчали.

– А ты обожди, обожди малость! Ах, бабы! –

прошамкал самый дряхлый из всех стариков, с огромною седою головой, сидевший на бревне в середине всех. – А ты не суровься... зачем суровиться?.. Мало что мы в Суровке родились!..

Павла остановилась, облокотившись на посох, и ждала. Старик крикнул.

– Так, значит, новых наложенъев вы с Аксентьей не примаете? – стал он допрашивать.

– Не примаем. Потому – это наложение от богатеев, а не свыше... Пуцай богатеи и платят...

– Ах, бабы! А-ах, бабы! – сокрушался старик. – Так, значит, старшинского приказу исполнять не хотите?

– Нету, не желаем... Хочет с нами честной мир жить, как исстари жили, и мы согласны...

– Ах, бабы!.. Да разве мы что сказали бы, кабы у нас земли было вдосталь... Ну-тка, сообрази!..

– Как земли нету? Есть земля, есть! У богатеев есть! Пуцай богатеи за тую землю платят! А наша земля сиротская... А греха разве

вы на себя не возьмете, коли с сиротской земли будете наложенья брать?

– Ты молчи, молчи об этом. Верно это, а-ах, верно! – заговорили разом старики. – Да не об этом речь, а об том, что вас велено на бабье положение свести, а тую вашу землю плательщикам отдать.

– А мы на бабье положение не желаем... И это наше вам слово сказано... Потому вам, честному миру, ведомо, что мы отродясь мужиками в мире изжили и вам честно служили...

– Молчи, молчи об этом! Ах, это мы все знаем!.. Да кабы у нас власть была на это самое дело!.. А вы смиритесь!

– Нету, мир честной, от нас умиренья не будет.

– Ах, бабы! Ах, бабы! – не переставал сокрушаться большеголовый старик, поглаживая бороду. – Так, значит, от вас умиренья не будет? – опять стал он допрашивать, как будто надеялся этим путем сбить настойчивую Павлу, выведя ее из терпения.

– Нету, не будет. Не слуги мы миру, коли он от своих устоев отрешается... Не слуги, ко-

ли мир стал сирот обирать...

– И новых наложенъев не примаете?

– Нету, не примаем...

– И на бабье положение не желаете?

– Не желаем.

– Так, значит, порешить меж нами хотите?

– Ваша мирская воля! – поклонилась Павла. – А вконец себя покорять не желаем...

Павла поклонилась еще раз, мотнула подогом и торопливо пошла к своей келье.

– Ах, бабы!.. Да ты обожди! Постой, может, сговоримся! – кричали ей вслед старики.

Но Павла, не оборачиваясь, махнула рукой и ушла.

– Что ты тут сделаешь? А? Ах, грех какой!.. Сколько годов прожили, а на-ткось, чем кончили! А? Каких баб от себя оттолкнули! – сокрушались мужики.

– Упрямства в них много. Ровно коровы бодливы.

– Это так, так.

– А по нонешнему времени, смирись – то и жизнь. Смирненько бы, смирненько надоть – то и поживешь, – резонировал какой-то старичок. – Не прежняя ноне пора, ноне уж миру

против богатея не выстоять... Нету! Ну, и умирись!

Я послушал сокрушения мужиков и направился к «келейницам». Келья их стояла несколько в стороне от прочих изб, вдаваясь в глубь гуменников. Это была небольшая, с одним окном на улицу, но длинная во двор, разделенная сенцами на две половины изба, построенная еще их отцом. Оставшись после него сиротами, они тридцать лет прожили в этой избе, так хорошо знакомой всему окружающему крестьянскому миру. Так как вместе с ними остался после смерти отца молодой брат, отданный в ученье на завод, то за ними был оставлен надел, и этот надел обрабатывали Павла и Секлетя, как они выражались, «на всем мужицком положении». Они так свыклись с этим положением, что и не замечали, что оно было совершенно особенное и исключительное; привыкли к этому и мужики-миряне, и само начальство, так как Павла и Секлетя заодно с прочими мирянами отбывали все натуральные повинности, участвовали на сходах, даже бывали сотскими. Это «положение» так, наконец, укрепилось за ни-

ми, что по смерти брата-фабричного, умершего в молодых годах на заводе, никому и на мысль не пришло отобрать у «келейниц» землю и «ссадить их на бабье положение», тем более что с годами Павла и Секлетья, грамотные начетчицы, стали пользоваться все большим и большим уважением. Их сила, терпение, умение вести хозяйство, а больше всего то, что они, ведя почти аскетическую жизнь, привечали у себя много деревенских сирот, давали им большой вес среди прочих крестьян, а сами они вследствие своего особенно-го положения были храбры со всяким начальством, и их иногда трусили не на шутку сами старшины. В особенности умели они всегда выхлопатывать разные льготы для сирот у мира. У них же самих с мирским начальством происходили частые стычки из-за разных «новых наложений», которых по каким-то причинам никак не хотели признавать Павла и Секлетья. Разбор этих столкновений старшины всегда передавали на мирское обсуждение, и мир обыкновенно освобождал их от этих «наложений», принимая уплату их на себя. Но в последнее время, когда этих «наложе-

ний» стало все больше, а население росло, земли же не доставало, и, кроме того, среди суровецкого общества появились богатеи, разжившиеся кулачеством, собственники, скупившие у помещиков окрестные земли и обрабатывавшие их батраками из своих же сообщинников, между миром и «келейницами» эти столкновения сделались чаще. Богатеи не хотели брать на себя круговую поруку уплаты за них «новых наложений»; кроме того, они жаловались, что за «келейницами» земля даром пропадает, а на миру недоимки растут. Между «келейницами» и богатеями началась борьба. Начальство стояло за богатеев, а мир малодушествовал...

Мы уже видели, к чему пришло дело. В Павле и Секлетее, кажется, уже созрело окончательное решение, и они не желали поступаться чем-либо и не шли «на умирения».

Я вошел в темные сенцы и отворил дверь налево. Войдя в эту древнюю, с почерневшими стенами комнату с русской печкой, по обыкновению, в левом углу, но довольно просторную, я тотчас почувствовал ту особенную приятность, которая возбуждает в нас домо-

витость. Всюду виделась замечательная чистота, выскобленные и вымытые мылом лавки и столы; в переднем углу была большая божница с деревянным голубем, висевшим с потолка, с толстыми, в кожаных переплетах книгами, с черными иконами, на которых чуть видно светились лики святых от лившегося на них слабого сияния зажженной восковой свечи, которую держала в руках Секлетья, стоя пред божницей «на поклонах». Павла, что-то тихо бормоча, копалась за печкой.

Старухи встретили меня ласково, даже у Павлы голос стал чуть-чуть нежнее. Секлетья была много женственнее Павлы: она и ростом была ниже, и черты лица у нее мягче, и голос певучее, хотя спина у нее так же была сгорблена, как и у Павлы. Начались, конечно, расспросы. Расспрашивала меня больше Секлетья, усевшись передо мной со свечкой в руках и смотря мне в лицо своими несколько ослепшими, мутными глазами. Павла собиралась меня угощать.

– Ну, ну, – приговаривала Секлетья к каждому моему рассказу о моем житье, о судьбе моих родных и часто крестилась.

Скоро Павла поставила на стол ватрушку и стакан молока.

– Покушай-ка, Миколаич, покушай нашего угощеньица, не побрезгуй, – пригласила она и села по другую сторону стола.

Я стал в свою очередь расспрашивать их, и они передали мне все, что рассказал я раньше. Говорила больше Павла, как-то тягуче и нараспев, перемешивая свою речь церковно-славянскими оборотами. Рассказывала она долго. Секлетея только изредка вставляла слово, а больше вздыхала и не переставала смотреть на меня.

– Как же вы решили? – спросил я.

– А такое наше решение: все сдать на мир и отрешиться... Будет уж, Миколаич, пожили для миру...

– И уйти?

– И уйти.

– Куда же?

– Нигде путь не заказан тому, кто отрешился, – сказала Павла.

– И это не тяжело вам, тридцать лет проживши, здесь?

– Возьми крест свой, сказано... Чем тяже-

лее, тем и богоугоднее. В том-то, милушка, и сила, что умеи от куска, от жилища, от живота отрешиться, и будет вера твоя велика. А без этого – все тлен и слабость... Посмотри теперь на наш мир: где в нем сила, где крепость? Нету той силы... А отчего? Оттого, что разучился человек отрешаться. Умирать человек не умеет. А ежели я умереть умею, ежели отрешиться осилю себя, то кого убоюся? Кто против сердца заставит меня что сотворить? Нету той силы, вот что я тебе скажу... Так-то! А в ком теперь это есть? Ни в ком нету: все ради грешные и слабые плоти живет...

Долго говорила на эту тему Павла, говорила глубоко убежденным словом. Секлетая крестилась при всяком тексте, который Павла вставляла в свою речь. Вдруг в середине ее речи раздался сзади меня вздох и чей-то шепот. У дверей на скамье сидели старик и старуха и еще две какие-то бабы и благочестиво слушали проповедь Павлы. В таком же роде, вероятно, шли беседы между Павлой и расколоучителями, которые, как мне сказывали, нередко заходили к «келейницам», хотя Павла и Сек-

лелея держались только старообрядчества и ни к какой секте не принадлежали. Среди этих слушателей, в полутьме, я заметил еще женскую фигуру, сидевшую в углу с скрещенными на груди руками. При слабом свете восковой свечи я не мог рассмотреть издали ее лица и полагал, что это Морозиха.

– Ну, что, любушка, как она там? – спросила Павла, обращаясь к этой женщине.

Та поднялась.

– Теперь ничего... Нужно будет зайти завтра к Ивану Терентьевичу, к лекарю... Здравствуйте! – протянула мне руку Катя и прибавила, понизив голос: – Если бы я не слыхала вашего разговора здесь, я бы подумала, что вы за мной следите.

– Али знакомы? – спросила Павла. – Ну, вот и дело... Так зайди, любушка, к нему... Пуцай завернет. Он – человек душевный, Иван-то Терентьич! Она ведь тоже мать; ребятишки... Нельзя не помочь! А об нашем деле скажи ему, касатка, чтобы оставил хлопотать... Мы уж решение устали...

– Хорошо! Прощайте пока, – сказала Катя, повязываясь платком.

– Не по дороге ли мне с вами?.. – спросил я ее.

– Пожалуй, проводите...

– Ну, до свидания, бабушки! Еще увидимся?

– Увидимся еще, касатик! Еще ведь не скоро уйдем. Желание будет со старухами поговорить, приходи. Теперь мы у безделья, потому как с землей уж все покончили. Сдали уж ее...

– Что же еще осталось вам?

– Мало ли делов! Вот тоже сиротки у нас есть. Мать-то у них заболела, пристроить нужно... Вот старичка слепенького тоже не бросишь середь улицы, давно уж он у нас, годов, поди, пять живет, да вот еще девушки, тоже сироты, есть. Много дела, много горя... Немалый тоже муравейник потревожился! Ох, немалый! Все же нужно к месту прибрать... Матрена-то Петровна обещалась, слышь ты, в Семенки сходить посправить-ся? – обратилась она к Кате.

– Да.

– Так ты уж, касатка, завтра пришли ее сюда. Старушки с поклонами проводили нас до

ворот. Наступила уже ночь. На небе загорелись звезды.

Воздух становился влажен. С реки подымался холодный пар. На лугу за деревней было тихо, и только слышались изредка те особенные звуки, которые присущи русской ночи: кое-где крякает утка, полуночник прошумит крыльями; откуда-то доносится мерный шум падающей воды; слышится тяжелое отфыркивание и звон цепей стреноженной лошади. Вдали, по дороге, скрипит обоз. Где-то скрипнула запоздалая калитка. Мы шли скоро, перебрасываясь незначительными фразами. Не доходя до перекрестка, от которого шла влево дорога к полубарскому выселку, а вправо – в деревню, где жил я, Катя неожиданно, спросила меня:

– А что вы думаете относительно философии этих простых русских баб?

– Это о том, что нужно уметь умирать и отрешаться?

– Да.

– Я думаю, что эта философия специально выработана ими для себя, так как носителями ее бывают только они.

– Вы думаете?

Я не отвечал. Мы подошли к перекрестку; Катя пожала мне молча руку, и мы расстались.

Вскоре после этого, как-то ранним утром, я направился из своей деревни к полубарскому выселку, спеша застать у Кузьминишны парное молоко. Я, обыкновенно, входил не с улицы выселка и не через переднюю калитку, чтобы никого не тревожить, но прямо пробирался задами, через огород и сад, к заветной ели и здесь ожидал в прохладной утренней тени Кузьминишну.

Я шел не спеша. Утро было особенно хорошо. Солнце еще стояло низко, и его косые лучи, казалось, скользили по верхушкам деревьев и кустов. Воздух был свеж и редок; едва ощутительное дуновение ветра приносило откуда-то запах липового цвета. Вблизи чирикали малиновки, перелетая по кустам впереди меня. На зелени лежала сильная роса. Стаи воробьев выпаривали внезапно из густой зелени овощей и, усевшись на дереве, начинали отряхивать смоченные росой крылья. Было очень тихо. Я скрылся в кусты малины, со-

блаженный сочными ягодами. Несколько минут спустя, из-за ветвей малинника, я приметил женскую фигуру, спустившуюся с крыльца и легкой, торопливою походкой направившуюся под ель. На ней было легкое кисейное платье и маленькая соломенная шляпка с опущенною вуалью; на плечи накинут был пестрый платок, в который маленькая фигурка лихорадочно старалась закутать плечи и руки; видимо, ее тревожила утренняя сырость. Я в недоумении следил за нею. Она повернула в беседку под елью и вдруг заговорила с кем-то. Я тихо обошел кусты и, дойдя до плетня, где валялся обрубок дерева, присел на него. Здесь не было такой гущины, и сквозь редкие ветви я мог рассмотреть собеседников.

В пришедшей фигуре я узнал Лизавету Николаевну; она села на край скамейки и старалась закинуть за голову спутавшийся вуаль. Пред нею сидела Катя, широко открыв глаза, в боязливо-вопросительном недоумении.

— Я к вам, — заговорила порывисто Лизавета Николаевна, задыхаясь от нервной одышки, — извините, что рано... Но так лучше: те-

перь никого нет.

Она оглянулась кругом.

– Я давно собиралась к вам, но мне хотелось раньше все, все обдумать, приготовить. Я хочу вам сказать: если вы, Катерина Егоровна... если я вам мешаю... если, может быть, совершенно невинно стою на пути к тому...

– Вы... мне? – еще более недоумевая, спрашивала Катя.

Но Лизавета Николаевна, кажется, не слышала этих слов: она низко опустила глаза и, взяв руку Кати, проговорила торопливо:

– Я все обдумала, все решила. Да, я была виновата... Но вы поймите... вы простите мне: я была молода, я верила... Теперь я вижу... нет, не теперь, я давно уже должна была знать... Господи! Знала это, и у меня не было сил!.. Я так любила его, я так была молода... А теперь я все решила: довольно! Не я нужна была ему в спутницы... Сколько лет он потерял со мной! Катерина Егоровна, скажите мне только одно слово, только одно – и я уйду! Я уже все решила: имение отдам крестному отцу в заведование. А сама... сама... уеду опять в Питер, куда-нибудь там... Там стану сиделкой,

мамкой, воспитательницей... Это по мне, это мне по силам... Вы видите, мне не будет тяжело: я выбираю себе дело по любви... А вы, вы и Петя, будете свободны... Вы займете при нем место друга, которое не по праву заняла я... Вы рука об руку с ним пойдете, не стесняя и не обременяя один другого.

Пока говорила Лизавета Николаевна, Катя напряженно смотрела ей в лицо, и ее щеки постепенно покрывались краской, пока не зарделись сплошь.

– Я вас, право, очень плохо понимаю, – почти прошептала она, боязливо смотря в лицо Морозовой (и действительно, все лицо ее выражало какой-то испуг).

Лизавета Николаевна при этих словах с горькой улыбкой подняла на нее глаза.

– Катерина Егоровна! Я думала поговорить с вами как с другом, – сказала она. – Я думала, что между нами не нужно никаких официальных объяснений. Я надеялась, что вы чистосердечно откликнетесь на мой порыв. Мы знаем друг друга давно... я вас всегда считала искренней, честной!

– Я и теперь та же, – сказала Катя, – но я

только не понимаю, зачем вы принимаете *такое именно* решение, когда можно бы все проще и лучше... Зачем уезжать и расходиться... когда могло бы быть общее дело.

– Да? Так вы... – хотела что-то сказать Лизавета Николаевна и не договорила, смотря все еще в лицо Кати, на котором светилась такая ясная искренность, что глаза Лизаветы Николаевны заискрились надеждой.

– О, если б это было так, – прибавила она, крепко сжимая руку Кати, – тогда... тогда я опять надеюсь, что еще сумею сделать все для него. Пока до свидания! – поднялась Лизавета Николаевна, быстро спуская на лицо вуаль. – Я не хочу, чтоб меня видел кто-нибудь! Лучше, если не будут знать.

Она пожала Кате руку и пытливо еще раз взглянула в ее смущенное лицо. Секунду обе женщины стояли молча одна пред другой.

– Если же... если вы еще сами не знаете, – заговорила едва слышно Лизавета Николаевна, – если вы сами ошибаетесь... если, может быть, вы сами убедитесь, что любите его, что он вас любит (он мне ничего, ничего не говорил, – торопливо вставила она, – это я сама)...

если так, то вспомните, что я вам говорила сегодня, что я все решила... Не могу ли я пройти здесь через сад? – спросила Лизавета Николаевна, заметив дорогу прямо в поле. – Вы, кажется, ходили к нам здесь где-то... ближе?

– Да, можно... Вот прямо, – указала Катя, проходя с нею несколько шагов по дороге между грядками.

Лизавета Николаевна ушла; Катя медленно вернулась. Необычайное смущение лежало на ее лице: она шла тихо, наклонив голову, с пылающими щеками, приложив одну руку к груди.

О чем она думала? Чем больше я всматривался в выражение ее лица, тем для меня становился определеннее ответ. Выражение это было именно то, когда в Душу человека вдруг забрасывают мысль, которая никогда ясно не признавалась им прежде, никогда не стояла на первом плане... «Неужели это так?.. Неужели я в самом деле влюблена в него?» – казалось, говорили ее задумчивые глаза. Она чуть-чуть приостановилась и затем, вдруг покачав отрицательно головой, быстро пошла к дому, как будто решившись что-то скорее, скорее

кончить... По дороге она сломила ветку сирени, махнула ею несколько раз себе в лицо и вошла на крылечко. Здесь она быстро обернулась, как будто ей почуялось, что кто-то шел за нею, посмотрела по направлению дороги, по которой ушла Лизавета Николаевна, и скрылась.

На третий день после этой сцены, в то время как я только что подходил сзади к полубарскому выселку, мне навстречу подвигались две женские фигуры, шедшие той мелкой, семенящей походкой, которой обыкновенно ходят богомолки; у обеих были в руках кривые палки, за плечами по небольшому узлу, в который были связаны пальто на случай непогоды. Обе были одеты почти одинаково: в простые ситцевые платья, с такими же платками на голове, низкой крышей спущенными над лицами от солнечных лучей; обе о чем-то весело говорили. Они шли по межполевой дороге, по одной стороне которой лежала свежеподнятая пашня, а по другой — овраг. Из оврага прямо им навстречу подымался мужик, с косой на плече и точилом за поясом; голова у него была повязана красным

платком вместо шапки; за ним шли, с граблями на плечах, две девки, в реденьких, полинялых ситцевых сарафанах, висевших на них как тряпки.

– Матрене Петровне!.. – откланялся мужик, снимая с головы шлык[18] и развязывая его. – Как здоровеньки?..

– Ничего!.. Что нам делается? – отвечала одна из женщин. Я узнал в ней сестру Морозова.

– Куда?

– В Семенки правим.

– Ну, ну! По болестям?

– Да.

– Так, так... Жарко будет идти-то! Да чего вы пешие?

– А что ж нам? Мы здоровые. А лошади теперь в деле.

– Верно. Ну, дай бог счастливо! Скоро ли вернетесь?

– Скоро.

– Ну, то-то! Ты от нас, смотри, совсем не уйди! В Семенках-то ведь хорошо жить, не то, что у нас... Мотри, как раз соблазнишься. Мою бабу с ребятишками не забудь. Плохо они по-

правляются, а мне неколи теперь присмотреть. Вот и девочкам тоже не впору.

– Нет, не забуду, – весело ответила Морозиха.

– Ну, так счастливо! Дай бог путь! – сказал мужик и протянул ей свою руку.

– Вы вот здесь идите, – посоветовали им вслед девки, показывая в овраг. – Здесь прохладнее... А то изморитесь.

– Мы и то хотели...

Мужик и девки зашагали дальше. Спутницы хотели было спуститься в овраг.

– Катерина Егоровна! – окликнул я.

– Ах, это вы! – сказала Катя, приостанавливаясь. – До свидания.

– Вы куда это? Далеко?

– Да. Верст за пятьдесят.

– За пятьдесят верст? – переспросил я.

– Да. Что вы так смотрите?

– Пешком?

– Как видите.

– И надолго?

– Да... Вероятно... На неделю, на полторы...

– Что же это вас побудило?

– Да я вот с нею...

– С Матреной Петровной? – сказал я, улыбаясь Морозовой. Матрена Петровна Морозова, или, по-народному, Морозиха – маленькая, но здоровая, хотя и с несколько бледным лицом девушка, уже в годах, как говорят, – то есть ей лет под тридцать, с чрезвычайно добрым лицом, по которому постоянно бегала чуть заметная, добродушная улыбка, с большими черными умными глазами, смотревшими замечательно смирно и кротко, – стыдливо опустила широкие ресницы и зарделась.

– Так это вы вместе?

– Да, – коротко отвечала Катя. – Прощайте!

Катя подала мне руку серьезно, порывисто, почти с сердцем, а Морозова протянула несмело и все с тою же чуть заметною улыбкой на лице. Рука Кати была слегка влажна и горяча, но нежна; напротив, рука Морозовой была совсем потная, кожа на ней рябая, складками.

Обе женщины спустились в овраг и прежней мелкой походкой пошли вдоль его.

Матрена Петровна Морозова была сестра Петра Петровича, годами пятью моложе его. Пока он скитался по научным капищам. Мат-

рена Петровна жила вместе с отцом и матерью на фабрике, где отец ее был самым мелким конторщиком. Жили они несколько лучше на вид, чем обыкновенные рабочие: так, у них была квартирka в четыре комнатки, обитая обоями, с цветами в окнах, а отец ходил в сюртуке вместо поддевки; но он получал так мало жалованья и, кроме того, любил так часто выпивать, что они вечно сидели без денег, и Матрена Петровна должна была работать. Когда помер отец, жить стали еще хуже; мать была стара и работать на фабрике не могла. Матрена Петровна должна была сделаться простой работницей. Впрочем, это продолжалось не более года. Мать тоже умерла, а к этому времени кончил курс в университете и Морозов. Он, задумавши тогда заняться адвокатурой, сейчас же взял было сестру к себе, но она пробыла у него недолго, так как он сам подумывал уже через полгода бросить адвокатуру и уйти опять учиться. Матрене Петровне снова пришлось идти в работницы. Да ей и не казалось это особенно тяжелым, а с братом ей было скучно. Он обещался ей высылать понемногу, хотя и у само-

го ничего не было. Так отрывал он ее несколько раз от рабочей жизни, но всякий раз она опять уходила на родину, так как Морозов очень часто менял место и профессию и сам сидел без денег. Это раздражало несколько Морозова: он хотел всячески вытащить сестру из условий невежественной среды и тяжелой работы, но не было средств, а без средств, он видел, что ничего ей лучшего доставить не мог, как опять сделать какой-нибудь швеей и заставить корпеть вместе с ним на студенческих квартирах. Между тем у Матрены Петровны была уже крепкая связь с фабрикой: здесь были у нее подруги, знакомые, — и она не тосковала.

Но вот наконец Петр Петрович, уже женатый, поселился в имении жены (посад с фабрикой, где он родился, был верстах в тридцати от имения; так как много народа из окрестных деревень и даже из имения его жены ходило на заработки на эту фабрику, то почти все крестьяне знали Петра Петровича и Матрену Петровну); он взял к себе тогда и сестру. Однако она опять прожила у них недолго. Ее слишком тяготила барская обстановка; при-

том же она никак не могла сойтись с нервной Лизаветой Николаевной, никак не могла помириться с тем бездельем и досугом, какой предоставился ей теперь. Она было просила «братца крестного», как звала она Петра Петровича, пустить ее опять на фабрику, но он и слышать не хотел. Он мечтал сам у себя открыть такое же заведение, думал приискать «хорошего, здорового, честного и развитого работника», который бы руководил им вместе с Матреной Петровной, сделавшись ее мужем. Но не так вышло дело. Матрена Петровна сначала поскучала, а затем скоро стала уходить к крестьянам, где она чувствовала себя как дома; ее деятельная натура тотчас же нашла себе приложение: она то помогала бабам и девкам ткать, то оставалась в рабочую пору с ребяташками и учила их по букварю, то ходила за больными крестьянками, а иногда напрашивалась на исполнение разных крестьянских поручений. Так вдруг она выдумала, что ей есть случай в город ехать, и собирала от баб разные поручения, пятаки на покупку платков, восковых свеч, вообще всего, чего нельзя было приобрести в деревне. Кре-

стьянки были рады, и ей нравилось, когда, вернувшись из уездного городка (верст сорок до него было), она отдавала отчет в данных ей поручениях, и вся деревня встречала ее с востаями и обновами.

Морозову не особенно нравилось, что сестра его обращается в «христову невесту»; он боялся, что под давлением невежества она легко ударится в религиозный пиетизм, в ханжество. Несколько раз он ей, хотя и добродушно, выговаривал это, а она стала бояться его, чтоб он не сделал ее барыней, не заставил сидеть и зевать в барском доме вместе с «барыней-сестрицей», как прозвала она свою невестку; она стала избегать встречи с ними и на несколько времени уходила в дальние деревни, где скоро опять все крестьяне делались ее хорошими знакомыми. Ходила она и в раскольничьи скиты, и на богомолье – с поручением помолиться за «грешных рабов». Ее кроткий нрав и привычка к работе, ее «золотые руки», как говорили крестьянские бабы, ее, наконец, заведомое целомудрие доставили ей общую любовь и уважение. Относительно ее целомудрия, впрочем, многие были в недо-

разумении, так как она не прикрывалась никаким лицемерным ригоризмом, гуляла с девками и вела себя весело и свободно. Только иногда влюбленные подруги ее замечали некоторую грусть в ней, когда приходилось им вести с нею интимные разговоры про своих возлюбленных. Очевидно, для нее уже был пройден период страсти, был пережит ею, и она свято хранила память о нем. Теперь чем старше делалась она, тем становилась религиознее.

Глава седьмая

Среди добрых знакомых

Однажды, подходя к крыльцу морозовского дома, я заметил в глубине двора два экипажа: один – легкий тарантас, запыленный, старомодный; другой, напротив, представлял собою нечто «новое», не похожее ни на один русский экипаж; это был тот легкий, но прочный и удобный фаэтончик, заложенный в шоры[19], на котором так и виднеется «вся английская складка». У Морозовых, значит, были гости. В передней я увидел двух мужичков с медалями на шеях, дремавших, сидя на рундуке, и вздрагивавших при малейшем шорохе в соседних комнатах. По этим неизбежным спутникам всякого начальства, налетающего на деревню, можно было с уверенностью предположить, что бросившаяся мне на глаза в соседней комнате фуражка, в виде ковша, украшенная золотым позументом по околышку, принадлежит начальству. У Морозовых гостил исправник, дальний родственник Лизаветы Николаевны, всегда останавливавшийся

у нее во время своих поездок в нашу Палестину.

Войдя в гостиную, я, однако, застал только Лизавету Николаевну. Она сидела около стола и что-то писала с напряженно-наморщенным лбом, как это делают те, которым приходится писать не особенно часто; пальцы у нее были испачканы в чернилах, несколько листов почтовой бумаги валялось на столе с начатыми строками и затем оставленными. Вообще было заметно, что писание для Лизаветы Николаевны составляло в некотором роде дело не совсем заурядное: все у нее не удавалось, все раздражало ее нервы – и перья оказывались плохи, и бумага рвалась, и чернила густы... В этот неудачный момент вошел и я. Она, кажется, обрадовалась случаю отказаться от писем, сейчас же отодвинула от себя бумаги и пошла мне навстречу...

– Наконец-то, наконец-то! – заговорила она. – И вам не совестно? Вместе, рядом живут люди одних симпатий и не хотят знать один другого! Непостижимо, что такое делается с нашим поколением! Вот мы обвиняем других в розни, в недоверии, а между тем не

можем сойтись между собой. Посмотрите, я принуждена писать письма к друзьям и знакомым, чтобы они хоть откликнулись на мой призыв и приехали к нам.

– Вам скучно?

– Нет, это не скука, – сказала, вздохнув, Лизавета Николаевна, причем лицо ее сделалось грустным. – Тут не скука, тут поважнее. Я, право, не могу объяснить вам, что с нами делается. Я знаю только одно, что вы грешите против других.

– Я?

– Да, все вы, которые считаетесь друзьями Петра Петровича. Неужели вы не замечаете, что делается с ним? С каждым днем он становится меланхоличнее, в нем падает энергия, вера... А вы! Вы оставляете нас одних... совершенно одних... все!

Лизавета Николаевна чуть не плакала, говоря это; голос ее дрожал, и на глазах блеснули слезы. Мне было ее искренно жаль.

– Лизавета Николаевна, мы не столько виноваты, как вы думаете. Здесь, мне кажется, причина лежит глубже; здесь имеют влияние какие-нибудь общие законы...

– Может быть. Но что из этого! Не должны ли мы бороться с ними, не должны ли мы принимать против этих нравственных поветрий такие же меры, как принимаем против других эпидемий? Да нет, это неверно! Ведь есть же люди, которые делают дело, которые нашли его и полюбили, отдали ему всю душу и энергию! Если б все эти люди имели общение между собою, они, конечно, поддерживали бы энергию и веру друг в друга. Впрочем, я не обвиняю Петю. Постоянные мелкие неудачи, постоянная борьба с невежеством, с непониманием, с подозрением... Да, я понимаю, что это может на некоторое время лишить энергии... Но при содействии друзей, при нравственной поддержке это как рукой сняло бы!.. Я теперь очень рада, что у нас, кажется, соберется кружок друзей Петра Петровича (некоторых я пригласила тихонько от него; пожалуйста, не говорите ему об этом). Вот теперь приехал к нам кузен – исправник (я этого не считаю, конечно!). Приехал еще друг Пети, Колосьин. Вы знаете?

– Слыхал. («Так вот чья англазированная-то тележка?» – подумал я.)

– Я рада за Петю, – продолжала Лизавета Николаевна, откидываясь к спинке дивана, – в этом Колосыне есть какая-то оживляющая сила. Я не знаю, как это вам хорошенько выразить, но в присутствии его всегда как-то становишься бодрее, не чувствуешь апатии, приниженности. Все мелочные неудачи делаются как-то совсем ничтожными, когда видишь перед собой этот ровный, спокойный характер... Так и чувствуется, что для него никаких мелочей не существует... Вы ведь знаете: он – техник? Был пять лет в Англии, вернулся, открыл собственную фабрику (небольшую), женился (жена его вылитая он: какая-то обруселая англичанка, тоже ровная, спокойная). Рабочие не нахвалятся им, да и он весел, доволен, так весь и светится. Если бы я могла хотя на минуту увидеть у Пети такое лицо!

– Он теперь где же?

– Кажется, смотрит ферму. Они сейчас придут... Где вы пропадали все это время?

– Признаться вам, я полюбил здесь одно местечко, по воспоминаниям детства, и хожу туда каждый день...

– Куда же это?

– В полубарский выселок...

– Уж не влюблены ли вы в Катерину Егоровну? Лизавета Николаевна хотя и улыбнулась, но при этом, как будто неожиданным для нее самой вопросе вдруг чуть заметно вздрогнула, и все черты ее лица мимолетно передернулись. Она, конечно, не могла и подозревать, чтобы я знал причину игры ее лица.

– Нет, не влюблен... Да и она ушла теперь надолго...

– Уехала? Куда?

Лизавета Николаевна силилась скрыть свое любопытство и сдерживала голос.

– Ушла верст за пятьдесят отсюда... Пешком...

– Пешком?.. Может быть...

Лизавета Николаевна не договорила, опустила ресницы и задумалась.

– Я с некоторого времени начинаю чувствовать, что была несправедлива к этой девушке. В ней есть что-то святое. Я прежде сердилась на ее угловатые выходки, на ее нежелание сходиться с нами, а теперь вижу, что

мы для нее как будто и в самом деле малы. Она «не от мира сего», как говорят. Так, вы говорите, она ушла... пешком? – не поднимая головы, спросила опять Лизавета Николаевна.

– И знаете с кем? С Матреной Петровной.

Лизавета Николаевна вздохнула и поднялась с дивана; лицо ее было серьезно и грустно. Я не хотел нарушать это настроение и, взяв лежавший на диване роман Элиота[20], стал перелистывать. Лизавета Николаевна вышла на террасу, постояла на ней, помахала платком в лицо и снова вернулась.

– А слышали ли вы еще новость? – спросил я.

– Какую?

– Ваш опекун навестил Башкирова...

– Папа крестный?

Лизавета Николаевна выпрямилась и полуудивленно, полувопросительно смотрела на меня.

– Да.

– И он был в гостях у этого чудака-лекаря... в избе?

– Даже в карете приезжал...

– Это очень интересно, – сказала Лизавета Николаевна, – непременно нужно прогнать Петю к Башкирову, чтобы он его привел к нам. Тут что-то кроется, чего я никак не могу понять.

За дверью приемной слышались голоса, звон шпор и чьи-то тяжелые шаги. Перед нами явился исправник, мужчина в том возрасте и с тою солидностью на лице, которые дают право на титул почтенного семьянина, главы полудюжины дочерей, руководимых толстою, сырою и дебелою супругой-матерью. Он был высок, мягкотел и плечист, с толстою шеей, составлявшей с затылком одну сплошную площадь, с длинными рыжими баками и здоровенными руками, внушающими страх. Но при всем этом в гостинной умел держать себя вежливо, по-джентльменски, и говорил с Лизаветой Николаевной довольно нежным голосом.

– Merci, merci, сестрица, – заговорил исправник, любезно раскланиваясь со мной. – Я никогда еще не выносил такого приятного впечатления от преуспевания помещичьего хозяйства, какое вынес сегодня. И все благо-

даря вашему истинно образованному супругу! Я всегда говорил: дайте мне больше таких людей, каковы господин Колосьин и ваш супруг, и в экономической жизни всего государства (он не имел привычки оканчивать фразу, доставляя возможность каждому округлять ее по своему вкусу и соображению)... Сама администрация примет наиболее успешный ход, а затем и государственные... Ma chere, vous permettez?.. С вашего позволения...

Исправник расстегнул белый китель, ловко вставил в массивный янтарный мундштук окурок сигары, погрузил свое тело в вольтеровское кресло и, поглядывая весело то на меня, то на Лизавету Николаевну, приготовился к дальнейшему разговору.

– Нравится вам? – спросила Лизавета Николаевна.

– Замме-ча-ательно!.. Я всегда говорил вашему папа, сестрица: этими людьми нельзя так...

Исправник сделал какой-то странный знак рукой и не закончил. В это время вошли Морозов и Колосьин. Колосьин – маленькая, но здоровая и плотная фигура, в коротеньком,

английском пиджаке, в каких любят ходить управляющие заводами и механики, с угрюмою, наморщенной, вдумчиво-деловитою физиономией, с большим горбатым носом и длинною черною бородой. Быстро окинув нас черными глазами, он молча, наскоро и как бы мимоходом протянул мне руку и тотчас же обратился к исправнику:

– Извините-с, господин... как? Колпаков?

– Калмыков... к вашим услугам, – поправил любезно исправник, чуть двинувшись к нему туловищем.

– Если вам, господин Колпаков, будет угодно сопровождать меня, то прошу... Для меня время дорого.

– Да, да... сейчас, к вашим услугам, молодой человек! – ядовито вытянул исправник. – Я уважаю драгоценное время человека, который его посвящает высшим...

– Позвольте, сударыня, раскланяться, – перебил сурово Колосьин и тотчас же опять, словно мимоходом, стал подавать нам руку.

– Мы вас ждем обедать в четыре часа...

– В четыре? – Колосьин посмотрел на часы. – Да, я буду в свое время; я успею кончить

все.

И, вынув из-под мышек кожаную фуражку, которую он все время держал там, пригласил исправника следовать за ним и скорою походкой вошел в дверь, как уходит занятый доктор-практик с консультации.

Исправник тоже поднялся, отдуваясь, застегнул китель, сунул мундштук в карман широких синих шаровар и сделал нам любезный поклон, шаркнув по-военному ногой.

– В четыре часа будем иметь удовольствие видеться?

– Конечно, – сказала Лизавета Николаевна.

Все это время я не имел случая взглядеться хорошенько в лицо Морозова, но теперь, когда он сел, словно разбитый, в угол дивана, – я удивился: так изменился он за последнюю неделю. Добродушие на его лице сменилось какою-то досадливою грустью; глаза смотрели скучно; во всем в нем чуялось раздражение.

– Ну, что, Петя, как показался тебе теперь Колосьин? Мы давно уж его не видали? – спросила Лизавета Николаевна.

– Как же он мне может иначе показаться?

Все та же самодовольная скотина! – проговорил Морозов и раздраженно повернулся в углу дивана.

Лизавета Николаевна взглянула на меня и грустно пожала плечами. Все молчали.

– Вот они, – заговорила опять Лизавета Николаевна, показывая на меня, – принесли две любопытные новости...

– Что же?

– Папа-крестный навестил Башкирова, а к нам даже не заехал. Говорят, они стали приятелями.

Морозов молчал.

– Катерина Егоровна ушла пешком... вместе с Матреной Петровной.

– Куда?

– Вероятно, за каким-нибудь делом.

– И прекрасно делают... Каждая баба, которая стучит лбом о пол где-нибудь в Соловках, бесконечно дельнее и честнее нас, дельцов...

Морозов выпалил это залпом и, быстро встав, пошел к себе в кабинет.

Лизавета Николаевна долго смотрела каким-то странным взглядом на затворившуюся дверь и потом, медленно поднявшись, ска-

зала, что ей надо распорядиться по хозяйству, и попросила меня развлечь ее мужа.

Я пошел в кабинет к Петру Петровичу; он уже был в рабочей блузе. Сброшенный сюртук валялся на диване.

– Вот самый лучший медикамент при всяких психических неурядицах, – сказал он мне, показывая в руках рубанок, – только этим и спасаюсь... Дам себе гонку часа так на три, до третьего пота, – мигом всю чушь из головы выгонит. И опять хоть приблизительно на человека похож будешь...

– Лечитесь, а я вам помогу: буду молчать и не заикнусь ни о чем, что могло бы вызвать вновь приступы психической неурядицы.

Петр Петрович взворотил на верстак огромный конец доски и начал строгать. Работал он легко, плавно, хорошо. Скоро лицо его ожило, зарумянилось; на лбу показался здоровый пот; и через несколько минут он уже так увлекся физической работой, что даже замурлыкал под нос свою любимую песню «Не белы-то ли снега в поле забелелись...». Я ему не мешал. Открыл окно, и, перевесившись туловищем через подоконник, я смот-

рел на вившуюся за палисадом дорогу, которая пускала от себя поворот к морозовскому дому. Вдали, вправо, из-за облака пыли то показывался, то пропадал английский экипаж Колосьина, куда-то уносивший его с исправником; влево виднелось село.

Седой мужик что-то копался около вереи. Ребятишки гонялись за поросенком по околице. У ворот морозовского дома лежала старая собака, высунув язык и прислушиваясь к чему-то. Две девочки-подростка выбежали из калитки, пошептались о чем-то, пугливо оглядываясь на барские окна; пес медленно поднялся и стал вертеться около них.

* * *

Часа через полтора по отъезде исправника к морозовскому дому подъехала большая, крепкая, так называемая «купецкая» телега с заложенною в нее коренастою гнедой лошадыю. Скоро в дверях из передней в залу показался тот самый высокий седой старик, которого я встретил на именинах Лизаветы Николаевны, — тот «умный», по словам Петра Петровича, мужик, который знает, «чего не нужно делать, чтобы не подличать, и что возмож-

но делать при данных условиях, чтобы не тратить даром порох». Переступив порог, он истово перекрестился три раза на образ, поклонился и пригладил наперед чуть заметно подрезанные волосы.

– Доброго здоровья, – проговорил он и, по обыкновению, устремил взор куда-то вдаль.

– Здравствуй, Филипп Иваныч, – сказал Морозов. – А к вам исправник поехал... Или не знал?

– Были у нас уж они... Сюда приказал мне приехать, кушать они здесь будут... А у нас уж были, теперь к соседскому управляющему поехали.

– Ну, садись, Филипп Иваныч. Садись сюда! – пригласил его Морозов к переднему столу.

– Нет, уж я вот здесь.

Старик сел близ двери, у маленького столика, положил на него шляпу и стал барабанить слегка по ней рукой, как обыкновенно делают крестьяне, когда что-нибудь обдумывают.

– Что нового скажешь? – спросил Морозов.

– Да есть... есть кое-что, – не скоро отвечал

старик, – есть мне до тебя дело, Петр Петрович...

– Какое же?

– Да я уж – извини бога для – с артелью-то нашей хочу нарушить.

– Что так? – спросил Морозов. По его лицу пробежала было какая-то тень, но он, видимо, задал этот вопрос без особого изумления, а больше из простого любопытства.

– Ты, Петр Петрович, не думай, что это из-за тебя, а либо что в этом самом деле есть нехорошо... Дело это доброе, это я всегда скажу... А ежели я отхожу, так от себя единственно... И никто, кроме меня, тут непричинен.

– Что же у тебя такое случилось?

– Так, братец мой, полоса у меня эдакая незадашная пошла... во всем... Грех на меня идет. В земцы эти удостоен был, думал: отчего не послужить? Послужим. А дело совсем дрянь вышло...

– А что у вас?

– Выборы были, пьянство это началось... Ах, господи! Неудовольствия пошли... Один за другого... Доношение в подкупе объявилось...

Меня в то же число, в пьяницы, в душепродавцы занесли... О-ох, дела, дела!.. В артель эту свою ты меня приурочил... Только что приспособился, а тут этот мужичок... помнишь, с пахвей сбившийся мужичок[21], просился к нам в артель?..

– Ну, что же? Помню...

– Ну, с петли сняли... Обезработел совсем, обголодал. А мужичок-то из моей волости... Пошли это в народе толки...

По лицу Морозова прошла тень уже так ясно, что это заметил даже старик...

– Все бог! Никто, как он! – поспешил успокоить старик. – Теперь опять волостным удостоили... Такие дела пошли! Ровно вот грех за мной следом идет... Думал, думал, да вот сегодня самому-то, его высокородню, и забросил словечко, чтоб меня то есть освободил...

– Что же у тебя там?

– Много, братец мой, много всего. Как все-то это сообразить, так, думается, и петли тебе мало... Вот каково! А ведь по душе-то, по совести тебе признаться, – только на одном и стоять тщился, чтобы как не согрешить, чтобы для всех было в любовь да в мир! Так, думает-

ся, что уж ежели на тебя эта полоса пошла, только одно тебе спасение – отойти... Значит, грех за тобой идет уж; значит, отойди, – чтобы твоя полоса другим не вредила... Вот что!

– По какому же делу к тебе исправник приехал?

– По порубке в колосьинской даче, а вторым делом – по «келейницам»... Старушки проступки разбирать. А-ах, царь небесный! А вот перед истинной совестью говорю я: я и не заикался... Обидела меня старуха Павлия... знаешь, может, две у нас старухи живут? Павлия да Аксентья... Обидела она меня в сердцах, при всем мире... Ну, понимаю, что в сердцах. Посадил я ее в темную, для-ради чтобы соблазну не было, а опосля и выпустил... А вот со стороны, значит, доношение сделали, – якобы у нас в волости беспорядки проявились... Все это богатеи у нас там вертят... Старух-то им хочется выжить, чтобы землю от них отобрать, а их на бабье положение ссадить. Теперь мир опять на меня пальцами указывает... До тебя, говорит, этого не было, а как ты проявился – и пошло все колесом...

– А порубка?

– Порубили – это точно... Да ведь и то сказать, – вдруг прибавил он, понизив голос, – где взять-то?!

– Так, значит, ты решил отойти, «отрешиться», – спросил как-то особенно загадочно и задумчиво Морозов.

– Решил, Петр Петрович, отрешиться, решил... Выходит, недостойн. Зачем грех с собой в мир вносить! У мира своей тяготы много...

– Но мне кажется, вы умели и «не отрешаться» и в то же время «не грешить»? – спросил я старика.

Он молча посмотрел на меня, но опять не в лицо, а как-то поверх моей головы.

– Ох-ти, хти, хти! До времени все! – уклончиво отвечал он.

Нужно, впрочем, заметить, что и вообще, несмотря на видимую искренность, с какою старик рассказывал о своих невзгодах, в его речи замечалась недоговоренность, как будто он что-то скрывал.

Вошла Лизавета Николаевна. Разговор принял то скучное направление, когда при появлении нового лица начинаются перед-опросы, пересказы только что сообщенных

новостей. Лизавета Николаевна, по обыкновению, всему удивлялась и при всем недоумевала. Я и Морозов снова собрались было в сад, но в это время послышался ямщицкий колокольчик и стук экипажей. Старик поднялся, погладил бороду и, тихо подойдя к Петру Петровичу, наскоро шепнул ему:

– Нельзя ли *самому-то* закинуть словечко, чтоб уж он меня не очень лаской-то удостоивал... А то говорит: ты для меня дорог, я с тобой в жизнь не расстанусь... А-ах, господи! За-молви ему, чтоб он меня уж не очень при себе задерживал.

– Хорошо, я поговорю.

– Поговори. Лучше без греха, так-то!

– Без какого греха?

Но старик заметил, что экипажи уже оги-бали угол палисадника, махнул шляпой и выбрался совсем в переднюю, стараясь подняться на носки сапогов и ступать возможно тише.

Экипажи остановились у ворот: вместе с колосьинской тележкой подкатил большой тарантас, в котором и помещались все приехавшие: исправник, ловко соскочивший с

подножки, откинутой крестьянским начальством с бляхой; Колосьин, вышедший с другой стороны и тотчас же начавший деловито осматривать своих лошадей и английскую тележку; и, наконец, после всех выбрался все время улыбавшийся и еще издали почему-то махавший фуражкой и делавший в направлении Лизаветы Николаевны ручкой «земский представитель» Никаша Бурцев, которому и принадлежал тарантас.

* * *

В ожидании обеда гости собрались в гостиной. Исправник, теперь красный как рак от жары и от «исполнения служебных обязанностей» (о тягостях которых он, видимо, силился заявить нам каким-то особым пыхтением), тотчас же попросил у Лизаветы Николаевны позволения расстегнуть китель, погрузился в вольтеровское кресло и по-прежнему ловко всунул в массивный мундштук крученую папиросу.

— Я говорю, сестрица, — тотчас же начал он, — дайте мне на выбор: управлять ли целым табуном толстобородых мужиков или двумя старыми крестьянскими девками, — я

выберу первое. Да-с... Потому что две старые закоснелые девки (pardon за повторение), две старые ведьмы постоят за сто тысяч чертей!

Никаша, ходя вдоль комнаты и разминая ноги, заливался тоненьким смехом. При последних словах исправника он вдруг круто повернулся к Лизавете Николаевне.

– Позвольте, позвольте, позвольте! – заговорил он, таинственно подмигивая на исправника.

– Да я ничего не говорю, Никандр Ульяныч, – заметила Морозова.

– По-озвольте, позвольте...

– Я говорю, сестрица, – начал было опять изрекать исправник, но Никаша бросился, растопырив руки на него.

– Позвольте, позвольте!.. Я хочу предложить вопрос несколько в иной форме!

– Ну-с, какой же? Давно бы уже предложили!

– А что сказали бы вы, любезнейший господин начальник, если бы вам предложили на выбор: иметь ли в своем ведении ораву толстобородых мужиков или практиковать исполнительную власть над двумя прекрас-

ными поселянками?

Никаша подождал секунду и затем разразился перекатистым смехом над своей будто бы «остротой». Лизавета Николаевна сделала легкую гримасу; исправник с снисходительным укором покачал головой, а Колосьин, бросив взгляд холодного презрения на разговаривающих, с серьезной миной вынул из кармана номер газеты и, отойдя к окну, погрузился в чтение. До этого он все время сидел в углу, поджав под стул ноги, с угрюмо-вдумчивым лицом, и занят был или делал вид, что занят глубокими соображениями, перед которыми, наверно, гостинная беседа провинциальных джентльменов являлась просто пошлостью.

Через несколько минут вошел Морозов, как кажется преднамеренно ушедший к себе в кабинет. Вслед за ним из дверей соседней комнаты высунулась востроносая, растрепанная девушка и сказала Лизавете Николаевне, что «кушать подано». Все отправились в столовую на приглашение Лизаветы Николаевны.

– Я говорю, любезный Петр Петрович! – на-

чал исправник, когда все сели за стол. («Мерси!» – вставил он, обращаясь с нежной улыбкой к Лизавете Николаевне и принимая от нее тарелку с супом.) – Мы ехали с Павлом Александровичем... Извините, так, кажется, ваше имя и отчество? – спросил он Колосына. – Так мы ехали с Павлом Александровичем, и я говорю: вот вы, господа, представляетесь такими деловитыми, вечно занятыми, как будто у вас минуты свободной нет... Конечно! Конечно! Я ничего не говорю против... Люди европейского образования... ну, новые идеи... пионеры... Но я говорю... наша сфера деятельности значительно, позвольте так выразиться, напряженнее и в то же время представляет иногда такие сложные комбинации...

– А не жалуемся-с и, благодарение господу богу, без европейского образования благополучно обходимся, – вставил ядовито Никаша и тотчас же ядовитость эту скрыл под добродушно-лукавой улыбкой.

– Позвольте! – остановил его исправник. – Я говорю: возьмите, к примеру, хотя вашу фабрику... вполне образцовое, замечательное

и, смею сказать, редкое у нас учреждение! Вы достигли замечательных результатов! Ваше учреждение... именно «учреждение» (я стою на этом), будет иметь для края важное значение как первый пример... Я говорю: первый пример или, лучше сказать, первый опыт разрешения задачи, о которую разбивались все мероприятия... Я признаю все это. Я не могу не признать, что фабрика, которая не давала прежде нам покоя, которая ежедневно выставляла целый ряд преступных действий: буйства, краж, неповиновения, пьянства, — что эта фабрика в ваших руках, под вашим высокообразованным наблюдением, сделалась таким тихим раем, куда мы забыли ездить... И без строгости-с, без карательных мер — вот что важно!.. Я заявляю сам, пред лицом всех, тот факт, что вы никогда не обращались ко мне за помощью (я исключаю нынешнюю поездку: это — пустяки!). Все это так-с. Но позвольте сказать и нам... Позвольте вас спросить: посредством каких мероприятий имеете вы удовольствие любоваться столь прекрасным учреждением? Почему этих же самых мероприятий не можем практиковать

мы, дабы вкусить всю сладость столь мирного течения дел? Так ли я говорю, сестрица? Это правда?..

– Конечно, – заметила Лизавета Николаевна, по-видимому или вовсе не слыша, о чем шел разговор, или еще плохо понимая, к чему вел речь ее кузен.

– Конечно-с. Однако Павел Александрович думает иначе. Павел Александрович говорит, что это достижимо только для них, для избранных...

– Я этого не говорил, – сердито заметил Колосьин.

– Виноват: может быть, иначе выразились. Не отрицаю. Затем я обращаюсь с вопросом: позвольте вас спросить, достоуважаемый Павел Александрович, какие мероприятия употребили бы вы в том случае, если б на вашей фабрике попались в числе прочих две старые, закоснелые девки, невежественно протестующие против самых разумных начал?

– Что ж ответил Павел Александрович? – быстро спросила Лизавета Николаевна, видимо заинтересовавшаяся вопросом.

Исправник бросил искоса хитрый взгляд

на Колосьина, который отвернулся к Петру Петровичу, сообщая ему что-то из газетных новостей.

– Павел Александрович отвечал очень, очень просто и коротко. Павел Александрович сказал: фю!..

Господин исправник сделал при этом поясняющий жест.

– Я этого не говорил, милостивый государь! – вспыхнул Колосьин, внезапно повернувшись к нему.

– Виноват: может быть, иначе выразились. Насколько могу, впрочем, припомнить, вы изволили высказаться так: мое правило – упразднять всякий элемент, не соответствующий общим интересам нашего учреждения; только путем строгого подбора необходимых элементов... и прочее в таком роде... Прошу извинить: я запомнил точные ваши выражения... Вы согласны, что я передал мысль вашу верно?

– Да, теперь, но не раньше. Здесь существенная разница...

– Ха-ха-ха! – добродушно расхохотался господин исправник. – Позвольте! Мне пришел

на память один курьезный анекдот. Когда-то, где-то я в газетах прочитал известие, что какой-то там англичанин или другой какой нации просвещенный гражданин изобрел новый способ действия против неприятельских сил. Способ этот, насколько могу припомнить, состоял в том, что поливали неприятельские войска из пожарных труб горящим петролием или чем-то в этом роде. Но дело не в этом, а в том, как он назвал свой способ избиения неприятеля? Как вы думаете, сестрица? Конечно, как человек образованной нации, как ученый, он, может быть, совестился назвать свое изобретение убийством или там как-нибудь иначе, по-обыкновенному...

– А как же? Изведением врага, что ли? Ха-ха! – спросил Никаша и опять захохотал, довольный своим остроумием.

– Немножко не отгадали... Он назвал его: «способом упразднения неприятельских колонн с места действия»... Конечно, мы – люди неученые, не умеем деликатно выражаться; а попросту возьмешь да назовешь тем именем, как наши праотцы называли...

– Ваш анекдот, господин Колпаков, не идет

к делу. Вы не перефразировали, но извратили мои слова...

– Согласен. Могло случиться и это. Но не от чего иного, как от неумения выражаться ученым языком... Впрочем, дело не в словах! Будем говорить об «упразднении».

Господин исправник выпил рюмку водки, медленно и тщательно вытер салфеткой усы и с самодовольно-хитрой улыбкой продолжал «развивать течение своих мыслей». Очевидно, он попал на тему, хорошо им обдуманную; очевидно, эта тема представляла очень выгодную позицию для него и была слабым местом противника. Исправник начал издавека, он коснулся и «обширности района, предоставленного его ведению», и «сложных комбинаций», которыми изобиловал этот район, и, наконец, проведя тонкую параллель между районом действий ученых пионеров и районом действий «всякого сына отечества, исполняющего долг службы», он заключил свою параллель следующим сопоставлением:

– Я говорю: вы, Павел Александрович, или вы, Петр Петрович, вы пользуетесь в своей деятельности замечательным упрощением, ко-

торое мы согласились называть «упразднением несоответствующих элементов». Прекрасно-с. Недавно Павел Александрович «упразднил» с своей фабрики около десятка таких элементов, а вы, Петр Петрович, «упразднили» одного пьяного мужичонку. Позвольте! Позвольте! – перебил он свою речь, заметив недоумение на лице Лизаветы Николаевны и гримасу на лице Колосына, – я нисколько не хочу порицать ваш образ действий... Боже меня упаси! Вот вам свидетель – сестрица. Я еще сегодня говорил ей: нам нужно больше, больше таких людей, как уважаемый Петр Петрович или Павел Александрович!.. Не правда ли, сестрица? Но при этом я говорю: воздайте должное каждому. Петр Петрович и Павел Александрович, конечно, могут пользоваться и извлекать все выгоды из этого мероприятия... Они могут «упразднить» с поля своей просвещенной деятельности и тех двух закошенных старых девок, о которых я уже говорил; но я – куда я их упраздню? Ведь и пьяный мужичок, и эти старые девки все-таки останутся в районе моих действий? Не правда ли, что мечтания мои о рае всегда будут отравляться

их присутствием, пока они не совершат такого преступного деяния, которое я уже вправе буду представить на благоусмотрение высшего начальства?..

– Позвольте, господин Колпаков, вам заметить...

– Аристарх Федорович Калмыков – к вашим услугам, – поправил внушительно господин исправник.

– Позвольте, господин Калмыков, – не решился еще раз перевернуть фамилию Колосьин, – вам заметить, в заключение вашей речи, что ни я, ни Петр Петрович не имеем ничего общего с тем, о чем вы говорили так долго. Вы воспользовались словом «упразднение» и между тем совершенно извратили его смысл. Мы никого никогда не упраздняем. Наш принцип – не вмешательство, но воздействие. Наши предприятия тем сильны, что они покоятся на основах самостоятельного, из себя выходящего развития. Мы оставляем полную свободу членам нашего предприятия, как членам свободной артели, распоряжаться так, как они считают сообразным с убеждением их совести, и только считаем необходи-

мым предлагать им известные внушения, если образ их действий, по нашим понятиям, может вредить интересу общего дела...

Все это выговорил Колосьин залпом, сердито смотря в тарелку и ни на кого не поднимая глаз.

– Да ведь и мы «внушаем-с»! Только вы внушите и сейчас же упраздните зловерный элемент... а две старые, закоснелые девки при мне останутся, и я, как истинный сын отечества, по долгу службы обязан о них пещись! Да и пьяный мужичок, вами упраздненный, в моем же районе действий на свою душу руку налагает: ведь это все – неприятности-с! За это нас не хвалят, а? – закончил исправник таким тоном, что Никаша, все время блаженно улыбавшийся, счел нужным принять вид человека, задумавшегося над решением задачи высокой важности...

– Не замечаешь ли ты, – обратился Колосьин к Петру Петровичу, скривив рот в ядовитую улыбку, – не замечаешь ли ты, что господин исправник имеет склонность смотреть на вещи радикальнее даже нас?..

– Да, замечаю, – как-то необычно резко пе-

ребил его Морозов и вдруг вспыхнул, так что Колосьин в недоумении искоса взглянул на него.

– Кстати, скажите, – переменяя разговор, обратился Петр Петрович к исправнику, – чем кончилось дело этих старух?

– Великолепно! Подобному решению я всегда покровительствую...

– То есть как именно? – спросила Лизавета Николаевна.

– Они – упразднились, говоря ученым языком, но упразднились сами.

Исправник засмеялся.

– Да разве можно самому «упраздниться»?

– Можно-с!.. Отчего же-с? У нас это часто, у мужиков...

– Каким же образом?

– А различным образом, смотря по тому, к чему кто более склонен. Бабы преимущественно посвящают себя богу...

– И эти старухи тоже?

– Тоже-с. И давно бы пора. Это значительно упрощает решение вопроса. Конечно, они обидели у меня старика, представителя власти, а стало быть, некоторым образом и меня

в лице его; но что же взять с двух старых, закоснелых девок? Бог с ними!..

– Я слышал, что старшина просит у вас отставки, – сказал Петр Петрович.

– Да, он говорил; но я ему сказал, чтоб он об этом и заикаться не смел...

– Напрасно. Я с своей стороны хотел просить вас уважить его просьбу.

Исправник несколько удивленно посмотрел на Петра Петровича.

– Прошу извинить, достоуважаемый Петр Петрович, никак не могу. Если б даже я сам хотел этого, не могу-с... потому что я – раб иных, высших соображений... Этот старшина – единственный в своем роде. Он умел привести в гармоническое слияние интересы управляемых и управителей... Это, батюшка, идеал! И чтоб я мог с ним расстаться!..

– Но вы забываете его самого. Каково-то ему самому достается это гармоническое слияние?

– Ну, это – другой вопрос... Служба – долг, уважаемый Петр Петрович! Мы все служим-с, все несем на алтарь-с... Про себя уже я не говорю, но вот представитель выборного нача-

ла... Вот Никандр Ульяновч... Спросите его: каково ему достается выборная служба? Обязанность пред обществом – это великая и трудная обязанность!.. Но зато и высокая! Не правда ли? – с улыбкой спросил исправник Никашу.

Никаша, очень плохо вникавший в разговор, выпучил на исправника глаза, крякнул и обвел всех блаженной улыбкой.

– Нет-с, и не просите, – решительно заявил исправник, – пока я здесь, Филипп Семенов будет старшиной, даже если б пришлось коснуться и выборных начал... Ввиду несомненной пользы, это должно быть допустимо... Но, конечно, без злоупотреблений!..

– А слышали вы новость? – сказала Лизавета Николаевна. – Папа-крестный стал приятелем доктора Башкирова! Недавно он навещил его в карете... парадным образом, с камердинером... И ни к кому больше не заехал, даже к нам.

Исправник вдруг отодвинул от стола кресло и принял величественную, полуудивленную позу, но, вероятно, заметив неуместность ее в кругу близких людей, тотчас же значи-

тельно затушевывал величественность выражения на своем лице, хотя и остался погруженным в серьезное размышление.

– Сестрица! – начал он несколько торжественно. – Я говорю: *это* не может быть более допустимо... Я уже говорил Никандру Ульянычу, как представителю сословия, я говорил: в интересах общественной пользы вы должны принять меры...

– Да что такое «*это*»?

– Сестрица, не волнуйтесь! Прошу и вас, уважаемый Петр Петрович! Я говорю: не может быть допустимо расхищение имущества, которое может принести богатые плоды... Замечаются такие поступки, повторение которых не может быть допущено... С одной стороны – меланхолия, мизантропия, с другой – одиночество... Какая-то женщина из низшего звания, лакей, собака, отсутствие бдительного попечения родных... Затем – огромные брошенные поля, луга, даром пропадающий божий дар, которым пользуются преступно посторонние мужики... Значит, косвенная поблажка порубкам, самовольному скашиванию лугов, за которыми никто не смотрит...

и, наконец, подчинение постороннему влиянию до того, что богатые земли бросают даром в руки первых попавшихся!

– Послушайте, кузен, бог знает, что вы говорите! Вы, наконец, хотите *папа*-крестного совсем помешанным представить! – вскрикнула Лизавета Николаевна.

– Я этого не сказал, но тем не менее...

– И это все вывели из невинного визита его к полюбившемуся доктору?

– Гм... Я имел честь, сестрица, представить вам значительный ряд совпадений... Что же касается до господина Башкирова, то я ничего не говорю... Боже упаси, чтобы я образованного, ученого человека мог заподозрить в каких-нибудь неблаговидных намерениях! Напротив, будь здесь господин Башкиров, я готов протянуть ему обе руки! Но это, конечно, не обязывает меня сочувствовать тому направлению, в котором его влияние на его с-тво...

– Полноте, полноте! – замахала рукой Лизавета Николаевна. – Вы слишком многое во всем провидите...

– По долгу службы-с, сестрица...

– Как вы думаете об этом? – спросила Лизавета Николаевна Колосыина. – Ведь вы знаете и папу-крестного, и Башкирова?

– Н-да... отчасти... Я полагаю, что все это вполне естественно... Естественно и то, что люди, не имеющие крепких научных основ в своем мировоззрении, бросаются в мистические бредни; естественно и то, что за отсутствием у нас солидной культуры и ввиду переходного характера нашей эпохи переход собственности из слабых рук в более сильные должен быть неизбежен... Это закон Дарвина: все более слабое, дряблое вымирает, все более сильное, энергичное захватывает поле действия в свои руки... Это – закон; это вполне естественно, а значит, и справедливо...

– Я совершенно с вами согласен, что это – закон... Гм... гм... закон... как вы изволили выразиться?..

– Закон Дарвина...

– Да... да... его-с... Я теперь припомнил... Этот Дарвин – он будет германский подданный?

– Англичанин.

– Гм... да-с... Так я говорю: я с этим законом

вполне согласен. Он не противоречит истинным видам и стремлениям всякого благонамеренного сына отечества. Но позвольте заметить: нет правила без исключений... Так и из этого благотворного, смею так выразиться, закона могут быть, по слабости человеческой природы, изъятия. Так, например, в данном случае этот закон подвергается искажению, ибо собственность не переходит в образованные и просвещенные руки, но подвергается расхищению. Если бы такой переход совершился в ваши руки или Петра Петровича...

– Это ничего не значит, это только переходный период, – заметил Колосьин, – с течением времени все придет в гармонию, и, конечно, собственность не минует людей, которые могут научным образом эксплуатировать ее с наибольшею пользою.

– Это так-с, так-с... Но зачем же ждать! Не обязаны ли мы способствовать немедленному насаждению культуры, не подвергая собственность длинному периоду расхищения? Я говорю: вы, сестрица, как ближайшая наследница после его с-тва и любимая его крестница, и вы, Петр Петрович, как человек, впол-

не достойный, – вы нравственно обязаны... А Никандр Ульяныч, я уверен, не откажет вам в содействии, как представитель сословия...

Никаша мотнул утвердительно, с большою готовностью, головой.

– О чем вы это говорите? – испуганно спросила Лизавета Николаевна исправника, взглянув в побледневшее лицо мужа и заметив беззвучно замершие на его плотно сжатых губах какие-то звуки. В ответ на этот вопрос Морозов быстро двинул кресло и поднялся, а исправник, посмотрев на него, махнул Лизавете Николаевне рукой и тихо проговорил: «Мы после! Еще успеем! В другое время!»

Все встали из-за стола. Обед кончился.

– Ну-с, теперь курнем!.. – добродушно-весело заметил исправник Колосьину.

– Ах, Павел Александрович! Какие вы, право! – продолжал он любовно, стоя пред ним и покачиваясь слегка на ногах, – и к чему вот и вы, и Петр Петрович такие сердитые, такие угрюмые, как будто или вас кто хочет укусьить, или вы кого собираетесь тяпнуть! А ведь совсем напрасно!.. Ха-ха-ха!.. Ей-богу, на-

прасно... Ведь ни в нас, ни в вас страшного ничего нет! Ах, голубчик! Ведь это все – только недоразумения, видимость, а в существе-то дела... Позвольте вас обнять, уважаемый Павел Александрыч!

– Вы очень любезны, – промычал конфузливо Колосьин, слабо выбиваясь из могучих объятий исправника.

– Ну, сестрица, вы нас извините с Никандром Ульянычем (Никаша еле стоял и по-прежнему бестолково ухмылялся). Мы уж к Морфею... Вы, господа, – люди молодые, вам ничего; а мы – потертые, послужившие! Нам и отдохнуть не мешает... Так ли, Никандр Ульяныч?

– Я давно готов, – выпалил неожиданно Никаша.

– Ну, так до приятнейшего свидания! Allons, aliens, allons![22] – запел исправник под такт австрийского марша и, подхватив под руку Никашу, повлек его с собой.

– Черт знает, что за мерзость! – выругался Петр Петрович, едва скрылись два приятеля, и тотчас же вышел в кабинет.

Лизавета Николаевна вздохнула. Колосьин

сделал ей какой-то знак глазами и мотнул успокоительно головой.

* * *

В кабинете Петр Петрович уже стоял у станка, в одной жилетке. Сброшенный сюртук по-прежнему валялся на диване. Петр Петрович принялся точить, а Колосьин стал ходить из угла в угол комнаты, потрепывая бороду и что-то соображая.

– Вот что, – заговорил он, приостанавливаясь около Морозова, – мне нужно бы с тобой поговорить...

Морозов молчал.

– Может быть, я буду лишний? – сказал я.

– Нет, нет... Можете не беспокоиться, если желаете, – сказал мне Колосьин и опять прошел в угол.

– Ну, через полчаса я должен ехать. Мне время дорого, хоть я и очень сожалею, – сказал он, смотря на часы.

– Ну что ж! – промычал Морозов.

– Хотя я и очень сожалею, что не могу поговорить с тобой больше... Да, впрочем, что ж разговоры! Для нас достаточно двух слов, чтобы мы поняли друг друга...

– Конечно!

– Я слышал, да и сам замечаю, – начал Колосьин, ходя по комнате и опять трепля бороду, – что тебя как будто муха укусила!

– Может быть, и укусила!

– Гм... странно! Зачем ты поддаешься этому настроению? В тебе нет этого довольства, которое сопровождает прочное, крепкое убеждение, гармонию деятельности с образом мыслей...

– А в тебе есть?

– Есть... Я и хотел сказать: смотри вот на меня...

– Ну и твое счастье!

– Напрасно ты колеблешься, хмуришься... Я бы, при тех условиях, какими располагаешь ты, мог бы рай устроить для себя, и сколько из этого рая мог бы уступить другим, обществу... Ты счастливее меня. Вот хоть бы имение Дикого. Если бы мне так везло, я бы мог еще более расширить поле своей деятельности и, следовательно, еще больший процент уступить благу общества... Но я... Ты знаешь, сколько я должен был употребить труда, настойчивости, хитрости, ума, знаний, пока не

приобрел опытности жить с людьми и...

– И уметь невинность соблюдать и капиталы наживать?..

– Ты смеешься?

– Нет. Ведь ты сам же сказал, что у тебя в душе *гармоника*.

– Ну да! Но ведь это досталось не без борьбы. А у тебя и борьбы-то никакой быть не может! У тебя все готово. Ты можешь сохранить-ся даже в нравственной неприкосновенности. И я не понимаю, отчего в тебе нет нравственного довольства? А в нем вся сила. Нет его – нет энергии... Вероятно, лошадь уже заложена? Как ты думаешь? – спросил Колосьин, смотря на часы.

– Наверно.

– Ну, мне пора. Я повторяю, что разговоры – это праздная потеря времени. Тем более между нами, когда мы хорошо понимаем друг друга.

– Еще бы!

– Я тебе дам категорический совет: старайся главным образом достигнуть нравственного довольства, несмотря ни на что. Если хочешь, уединись для этого, погрузись в науку

(ты – математик? она очень помогает), брось политику, газеты и журналы, возьми какую-нибудь солидную книгу. Не смотри по сторонам. Вот средство, к которому я всегда прибегал, чтобы установить в себе нравственную гармонию и довольство своего личного я. И всегда результаты получались благие. При этом условии ты принесешь возможную долю блага, хоть не большую, но зато прочную и солидную; без него не сделаешь ничего положительного... Я упираю на это слово. Химера, романтизм, утопия – вот какие результаты только могут выйти при отсутствии нравственного довольства и гармонии... Для подкрепления своих слов прибавлю, кстати, что предлагаемое мною средство испытано не только мною. Оно – результат исторического опыта... Я просто задался вопросом: отчего пошляки, кулаки и прочие необразованные дельцы преуспевают в сем мире? И нашел, что этот успех лежит в их самоуверенности, доходящей у них до наглости, а эта самоуверенность возможна только при полном нравственном довольстве. Следовательно... Но вывод ясен. (Колосьин опять посмотрел на ча-

сы.) Однако прощай! Спешу... Да я, кажется, успел все высказать?

– Успел. Прощай.

– Если в чем встретишь сомнение или недоразумение, пиши мне, и я успокою тебя двумя словами... Когда буду здесь по делам, заеду сам...

– Спасибо.

– Прощайте!

Колосьин подал нам наскоро руки и, как профессор, прочитавший лекцию, не снисходя дожидаться возражений и даже не помышляя, чтобы они могли быть, вышел.

Морозов принялся усиленно работать. Я посмотрел на него, подождал немного и, когда коляска Колосьина проехала мимо окон, тоже распростился.

В зале я встретил Лизавету Николаевну. Она была как-то грустно озабочена.

– Кажется, ваши надежды не оправдались? – сказал я.

– Да, должно быть, для нас все кончено, – грустно отвечала она, пожимая мне руку, – все-таки, пожалуйста, заходите чаще.

Глава восьмая

Странные люди

I

Через несколько дней я был снова у Морозовых.

Жар хотя и спадал, но было душно, откуда-то наносило гарью. Со стороны видневшегося влево села не было слышно ни звука, как будто все замерло под палящим зноем. Но вот эту беззвучную тишину нарушил враз поднявшийся на селе собачий лай. Телега с грохотом повернула к усадьбе Морозовых, поднимая за собою огромное густое облако пыли, которая и осела густым слоем на деревья палисадника. Я, сидя у открытого окна, мог очень тщательно рассмотреть подъехавших. В плохую, кажется, готовую рассыпаться в щепки при малейшем неосторожном толчке, деревянную телегу были заложены две истомленные клячи в рваной веревочной сбруе; на пристяжной, впрочем, и ее не имелось, если не считать за таковую две в нескольких

местах порванные и связанные узлами веревки, прикрепленные к какой-то рогожке, висевшей вместо хомута на лошади, и к деревянной палке, воткнутой в передок телеги вместо вальков. Лошаденки были вылинявшие, пегие, с плешинами на спине и боках, разбитые; как только подъехали они к воротам, так и остановились как вкопанные, выпучив глаза и широко расставив передние ноги, из опасения упасть. Возница был как нельзя более в pendant[23] и к экипажу, и к коням; сидя на передке, он казался съезжившимся гигантом: так чудовищно огромна была его голова; но едва он встал на свои маленькие, худые, в изорванных портах ноги, оказалось, что его огромная, вводившая издали в заблуждение голова, покрытая шапкой сбившихся в мочку седых волос, была совершенно неосновательно посажена на тонкую, худую шею и сухое, худощавое, короткое туловище. Однако же субъект, сидевший в кузове телеги, был значительно интереснее и оригинальнее и самой телеги, и коней, и даже самого возницы.

– Почтенный Харон[24]! – кричал он возни-

це, еще сидя в телеге. – Изволили вы меня доставить к месту назначения?

– Да ты к кому рядился-то? – несколько недоумевая от такого вопроса, спросил возникшего.

– К господину Малову, моему первейшему другу...

– Ну, так, знаю, приехали. Вылезай!

Субъект высвободил из кузова телеги свои тонкие, как жерди, ноги в суконных брючках и штиблетках и, наконец, побряхтывая, выбрался совсем. На нем был короткий пиджачок, весь вывалянный в сене, и большая, с широкими полями, поярковая[25] шляпа, из-под которой смотрело маленькое лицо с жиденькою узкою бородкою, обрамленною длинными, по плечи, русыми волосами.

– Вели-ка-лепно! – говорил он, нетвердо стоя на ногах и что-то ища в телеге. – Наконец у цели!.. А! прекрасные поселанки! – крикнул он, заметив прятавшихся в калитке девушек, и стремительно, изображая собою элегантнейшего Дон Жуана и вывертывая ножками, подошел к ним, снимая одной рукой наотлет шляпу, а в другой держа какую-то корзину. –

Прекрасные пейзажки! Осмелюсь узнать от вас, могу ли я лицезреть почтенного культурменша Петра Петровича, сі – devant[26] Петьку Малова?..

– Петр Петрович, – сказал я Морозову, – к вам приехал какой-то чужак. Как будто из знакомых кто-то.

– Не знаю... Войдет, так увидим, – проворчал Морозов, продолжая работать на станке.

Между тем прибывший субъект все еще продолжал объясняться с девушками.

– Насколько могу заметить, – кричал он, нарочно, кажется, пискливым голосом, – вы имеете честь состоять в камерфрейлинах у сих новых культурменшей? Позвольте же поручить вашему вниманию и заботе сего малого птенца, поднятого мною на дороге с переломленной ногою.

Приехавший с поклоном подал девушкам шевереньку[27], в которой уложенным в сене лежал кролик. Девушки крикнули обычное «а-ах!» и занялись зверьком.

– Сколько имеете вы получить с меня, мой строгий Харон? – обратился приехавший к вознице, который уже успел отыскать в глу-

бине телеги рваный картуз (он ехал с открытою головой), хранившийся там исключительно, кажется, для чрезвычайных случаев, как, например, на случай объяснения с господами.

– Известно, два рубля... Али забыл?

– Получите же, строгий проводник в царство культурных теней, от меня три рублика, – сказал гость, роясь в портмоне.

– Ладно. Три так три...

Приезжий несколько времени молчал, как бы в недоумении, зорко всматриваясь в волосатое лицо возницы.

– Проси четыре, хам! Проси!.. Что ж ты не поддерживаешь издавна припасенной тебе хамской репутации? Проси еще на водку! – вдруг угрожающе закричал он, переменяя голос.

– Ладно, давай, давай три-то, коли тебе не нужно, – сердито ворчал большеголовый возница, вертя в руках нетерпеливо картузишко, казалось мозоливший ему руки.

– Прошу вас покорнейше, почтенный хам, пропить сей рубль немедленно и тем закрепить издавна признанную за вами репута-

цию... Понимаете? Иначе оставьте его у меня, чтобы я мог ему сделать то же употребление с большею виртуозностью, – продолжал лицедействовать приехавший субъект, подавая мужику бумажки.

Возница пересмотрел их, быстро кивнул головой в знак благодарности, подошел к телеге, опять сунул в ее передок картуз и, взбравшись на облучок, крикнул, отъезжая от ворот:

– Спасибо! Будь неравно знаком! Коли когда еще поедешь, перекинь мне словечко с кем и то... Мигом приеду... Свезу даром... А теперь деньги нужны... Живи счастливо!..

Лошаденки повернули от ворот, а приехавший субъект все стоял, погруженный, по-видимому, в размышление, и смотрел взад вознице, который усердно принялся работать локтями, передергивая вожжи.

– Ну, это он! – сказал я Петру Петровичу.

– Кто – он?

– А вот, увидите... Сейчас войдет... Бьюсь об заклад, что никак не ожидаете.

Петр Петрович взглянул в окно, но странный субъект уже скрылся за калиткой.

Минуты через три за дверью в соседних комнатах слышались легкие шаги и голос приезжего:

– Не беспокойтесь, синьора... Прошу вас... Я все с собой... – говорил он кому-то. – *Omnia mea tecum porto*[28] – торжественно произнес он, толкнув ногою дверь в кабинет Морозова, и остановился в ней с шляпой на голове, с саквояжем в руке, – Не узнал? – обратился он к Морозову, пытливо оглядывая нас подозрительным взглядом.

– Павел! Какими судьбами? – вскрикнул Морозов. Все лицо его при этом вдруг засияло прежним добродушием, любовью, радостью.

– Я, брат, я... и, как видишь, весь тут, – говорил Павел, все еще стоя в дверях и обнажив начинавшую лысеть голову.

– Ты опять? – покачал головой Морозов. – Да входи же наконец!

– Куда?.. Гм... В храм принципа? – кивнул Павел на токарный станок, верстак и инструменты.

– Полно вздор молоть!.. А ты сам что? Разве не ради принципа устраиваешь свои «перевороты»? Ну, давай, давай сюда, – говорил весе-

ло Морозов, беря у него из рук саквояж.

– Пер-ревороты! – проворчал Павел, тяжело сядя на диван от сильного утомления, внезапно как будто охватившего его. – Постой, брат, дай очнуться... А! Я и не заметил, что у тебя интеллигенция. Виноват! Прошу извинить! – обратился он ко мне.

– Полно же, перестань, – уговаривал его Морозов.

– А ты знаешь, зачем я сюда приехал? – спросил Павел. Его лицо как-то болезненно осунулось, глаза глядели устало и грустно.

– Конечно, нравы «наблюдать», – сказал Морозов, подсаживаясь к нему. – Иссяк, чай, запас... Понаберешься мужицкого-то материала и опять в распрекрасную столицу, в обстановочку, как и все ваши, писать для почтенной публики «веселые пейзажцы»... Ха-ха! Что? не нравится?

– Ну, брат, не угадал... Я теперь не пейзажи... Я, брат, теперь за делом, за настоящим...

– Ну?!

– Да-а. Я, брат, напал на идею – изучить хамство... И прежде всего избрал тебя, как наипичнейшего представителя...

– Меня?

– Да, брат, тебя... Хамство идеи! Знаешь ли ты, что такое «хамство идеи»? А-а! Хамы, брат, не они, – ткнул он пальцем по направлению к селу, – а мы.

– Что ж, может быть, ты и прав.

– Это, брат, верно... Он полною жизнью живет... понимаешь? Полною жизнью, – ткнул он опять пальцем по направлению к селу. – Он один так живет, то есть, понимаешь, мужик... А вы – хамы, хамы! Все хамы!..

– Что же это значит у тебя – «хамство идеи»?

– А это, брат, грех старый, из веков он за нами... Вторую заповедь знаешь: «Не сотвори себе кумира»?.. Ну, так вот все против нее же...

– И я, по-твоему, хам?

– Хам, брат, хам!.. Потому ведь – барин тоже кумир для хама, ну, а для «принципных» наших либералов принцип кумир будет...

– Какой же принцип?

– А так: приведение к одному знаменателю, знаешь? Ну, вот это и есть ваш принцип... Мужика!.. Гм!.. Живого человека к одному

знаменателю привести!.. Хамы, брат, мы, повторяю. А его, брат, под один знаменатель не приведешь... Он, брат, полною жизнью живет... Я вот хотя и не он (ну, положим, и недалеко ушел: дьячковская кровь-то), а вот попробуй-ка к одному знаменателю подвести... Ну-ка, попробуй!..

– Да ведь не все такие беспардонные, как ты? – смеясь, заметил Морозов. – А может, придет время – устанешь, покоя захочешь, захочешь и к одному знаменателю пристись!..

– Я – успокоиться?.. Я? – вскочил Павел. – Смерть – вот общий знаменатель!.. А успокоиться на чем-нибудь помимо нее – вот оно, брат, хамство-то и есть. А я не хам!.. Потому – борюсь... борюсь, черт возьми!..

Павел полуискренно, полуиронически сжал кулаки, заскрежетал зубами и сел. Несколько времени он молчал, тихо проводя рукой по лбу, как бы отдыхая и приходя в себя от непосильного напряжения.

– Петруша, извини, брат... Я всхрапну... Этот /кар... да водка... Кости болят!..

– Спи, спи, сделай милость, – засуетился

Морозов.

– Извините меня, мил-сдарь! – обратился Павел ко мне, затем забрался с сапогами на диван, подложил в голову подушку, поданную ему Петром Петровичем, и, по-видимому, задремал на несколько минут.

Мы молчали.

– А знаешь что? – заговорил он словно в бреду, не открывая глаз. – Я, брат, все опять разнес... всю эту обстановочку... Ра-азрушил!.. Ха-ха!.. Я, брат, теперь опять «omnia mea tecum porto»!..

Павел снова замолчал и через несколько минут стал даже всхрапывать.

– Нервы!.. Он весь – нервы, нервный комок, – шепотом говорил мне Морозов, пожимая плечами и любовно, заботливо смотря на засыпавшего Павла.

– Петя! – тихо окликнул Павел. – А она здесь... эта... ну, эта наша кровная, русская «дщерь случайной семьи»?

– Катя?

– Да, Катерина Маслова... А ведь я ее любил... люблю, брат... То есть, понимаешь, как люблю? Люблю, брат, не вожделением... Нет...

Ее так нельзя любить... Тип я, брат, в ней люблю, русский органический тип... Органический потому, что она именно «дщерь случайной семьи»... А из этой-то «случайной семьи» на нас свет пролился. Свет! Свет! А один уважаемый мною учитель этой «случайной семье» все наши невзгоды приписывает... Обидно, брат, мне это было... Когда я прочитал у него эту несчастную мысль, я... с того, брат, момента, я всю и обстановку свою разнес... И господи, как же я «разрушал» все эти «аксессуары жизни», все эти зеркальцы, вазочки, собачки на пресс-папье, гарнй, лампочки, абажурчики... книжки в «изящных» переплетах... Великолепная, братец, была картина!.. Достойная кисти самого Каульбаха[29]!.. Прелестный, братец, вышел бы у него пейзажец в «Сумасшедшем доме», если бы вставить этот русский эпизодец!.. Бррр!..

Павел скорчил злую гримасу и повернулся лицом к стене.

– И вот, брат, еще за что я люблю ее, эту «дщерь случайной семьи»: в ней, брат, этого хамства уж нет... Вот за что... Она, брат, тоже сумеет утечь, отрешиться... А в этом – свет!

свет!..

Все это говорил Павел, медленно выговаривая слова, как будто в забытьи и, по-видимому, нисколько не интересуясь, слушает его кто-нибудь или нет. Морозов сидел около дивана на стуле, смотрел серьезно-задумчиво на Павла и трепал свою бороду.

– А кроме этой... этой «дщери»... у меня в груди еще есть сюжетец, по выражению первых любовников с Замоскворечья, – прибавил Павел после небольшого молчания. – Знаешь что? Чахотка, брат, злейшая! Один знакомый докторишка мне дружески советовал повременить «перреворотом», то есть, попросту сказать – погодить пить... Гм!.. Повременить! Ну, я ему «дурака» загнул.

Павел беспокойно завожился и смолк. Из кармана его панталон выпало портмоне, и деньги рассыпались по полу вместе с десятком смятых папирос. Морозов медленно и молча подобрал с полу монеты и тумбочкой положил их на верстак. Мы долго сидели молча, вслушиваясь в сиплое дыхание Павла. Я всматривался в эту худую съежившуюся фигурку, и, не знаю почему, несмотря на его

длинные ноги, на его бороду, на его лысину и сорок лет, мне виделось – и в этих тонких, белых, почти прозрачных руках, хотя и маленьких, но носивших явные следы плебейского происхождения, и в этой безмятежной позе, с поджатыми «калачиком» ногами, и в выражении тихого успокоения на лице, – чувалось что-то младенческое, хрупкое, нежное и вместе беспомощное, такое, что хотелось бы облелеять, охранить от невзгод жизни... Но уже, очевидно, было поздно: тяжелая рука жизни давно уже отметила свою жертву.

Павел Миртов был художник.

– Это обреченные! – как будто отвечая моей мысли, шепотом проговорил Морозов и, тихо ступая на носках, знаком пригласил меня выйти вместе с ним. Когда мы повернулись к двери, в ней показалось радостно улыбавшееся лицо Лизаветы Николаевны. Смотря на спавшего Павла, она, кажется, готовилась что-то крикнуть от восторга, но муж приложил к губам палец и тихо сказал ей:

– Тс! Оставь его пока!.. Он так измаялся, что, мне кажется, стоит только на него дунуть, чтобы он рассыпался прахом... Ему, как

ребенку, нужно люльку... Может быть, и ожи-
вет тогда!..

Морозов зашагал к выходу в сад.

– Я все, все сделаю... Я спасу его, – шепнула
мне Лизавета Николаевна. – Видите, судьба
идет сама мне на помощь... Вот уже есть
один – и самый желанный!..

Лизавета Николаевна радовалась, как ре-
бенок.

II

Не один десяток раз прошли мы с Морозо-
вым по длинной аллее, а интересовавший
нас вопрос все еще не был исчерпан. Мы тол-
ковали о Павле, о «новых людях» былого вре-
мени, о судьбе наших молодых писателей.
Морозов и в этой судьбе видел «фатальную
миссию цыганства», исторически завещан-
ную нашему переходному времени. Для дока-
зательства он постоянно ссылался на биогра-
фию Павла и приводил разнообразные харак-
терные эпизоды из его жизни. Судьба Павла
была такова же, как судьба всех русских писа-
телей-разночинцев недавнего периода. Какой
глубокий смысл скрыт в ряде этих страдаль-

ческих биографий, этих психических мартинистов, из которых каждый так внушительно и назидательно повторяет и подтверждает другой, что болью сжимается сердце и глубокою скорбью наполняется душа! Кто не различал в каждой из этих биографий трех резко определенных периодов: вначале школа, баснословно дикая и мрачная, и в тьме царящей в ней рутины, схоластики, отвлеченной морали и лицемерия еле мерцает, готовая потухнуть и сгнута бесследно, «божья искра» в душе ребенка. Путем почти невыносимых страданий, под страхом загубить навеки все будущее, навеки потерять право на дальнейшее развитие, сохраняет юноша в глубине души, тайно от всех как нечто запретное, эту «божью искру», пока торжествующе не вынесет ее из мрачных стен бурсы в божий вольный свет. Далее – жажда света, новой жизни и длинный путь пешком в столицы из глухих деревень и городков обширной отчизны на поиски этого света, на поиски «душевного дела». Это – ряд голодных годов борьбы за существование, борьбы сомнения с надеждой, веры с отчаянием и в то же время лихорадоч-

но-страстной, тяжелой выработки новых нравственных устоев... Наконец – проблеск зари, предчувствие близости «душевного дела», трепетание в груди ищущих исхода сил: одно мгновение – и загорелись лучи славы, в душу снизошел восторг нравственного удовлетворения, сердце полно беззаветной веры... Но это только мгновение... В сущности даже это мгновение – только ирония, грустная и тяжелая: это уголок обетованной земли, мелькнувший вдали усталому и разбитому путнику, у которого уже подкосились ноги, надорвалась грудь... В виду этой обетованной земли он изнемогает, скорбя за кого-то и посылая сквозь жгучие слезы невольные проклятия чему-то...

Павел Миртов был истинный «сын деревни». Рожденный в угарной, дряхлой, трехоконной избе сельского дьячка, кое-как перебывавшегося в плохом приходе, с двумя десятинами плохой земли, ходившего все лето в длинной белой холщовой рубахе за сохой и бороной, а зимой – в нагольном полушубке и только «на потребу»[30] надевавшего синее нанковое полукафтанье[31], – Павел все детство

провел на глазах вопиющей нужды, среди рабочей жизни «униженных и оскорбленных», среди тихого однообразия деревенских полей и лесов. Воспоминанию этого иногда глубоко трагического и трогательного детства, как своего, так и своих сверстников, посвятил он лучшие свои этюды, которыми и приобрел не громкую, но прочную репутацию.

Кончилось детство, самое зеленое детство, пролетевшее под благодушным и умиряющим влиянием деревенской природы. Настала школа... Бог с ней, с этой школой!.. Мимо ее!..

Юноша Миртов мерно шагает по шоссейной дороге с котомкой за плечами. Его молодые, здоровые ноги широко отмеривают саженные шаги; на лице пот и здоровая игра крови. На фуражке и пальто, перевязанном бечевкою, густым слоем лежит пыль. Вот он проходит село, усталый останавливается у одной избы и бессильно садится на завальне, сняв фуражку и ослабевшею рукой тщетно сясь расчесать свалявшиеся кудри. «Испей, касатик, испей!» – говорит ему старуха, вынося из избы жбан квасу и ватрушку. Жадно

съедает юноша эту ватрушку и так же жадно выпивает квас. Крестьянские любопытные ребятишки обступают его полукругом издали. Кто-то о чем-то спрашивает его, но от усталости у него идет кругом голова, шумит в ушах, и сон окончательно одолевает его... «Эй, Прасковья! Кинь-ка ты нам с ним на задворках, под навесом, сенца!.. Молодчик, а молодчик! – кричит над его ухом мужик, только что приехавший с мельницы: – подем-ка уснем вместе в холодке... Ах, важно укрепишься в путь-то свой дальний!.. А после мы с тобою косушечку раздавим на дорогу-то... Мы все так, коли на заработки ходим... И не услышишься, как отмахашь верст сорок после того!.. Верно говорю!..»

Шатаясь, идет Миртов под навес и, бросившись на свежее сено, сладко засыпает...

Так проходит неделя... Вот наконец и она – Москва! Он поднимается на последнюю гору, с которой столица видна как на ладони: вся освещенная и палимая солнцем, ярко предстала она пред его глазами, блистая куполами и крестами церквей... От нее неся к нему как будто какой-то невнятный призывный шум и

звон... Павел выпрямил усталые члены, глубоко вздохнул полной грудью – и улыбнулся младенчески-радостно и восторженно... Но с первых же шагов, сделанных по длинным и кривым московским улицам, молодого человека тревожит вопрос: куда приютиться? Он не знает Москвы. Он скорее ориентировался бы в родном лесу, чем в ней. Был уже вечер, когда он дошел до Москвы-реки. Искать товарищей поздно. Куда же? Среди этих высоких хором и палат, так негостеприимно и сурово смотревших на незнакомого пришельца, он не осмелился искать себе пристанища; чужие они ему: ни им не понять его нужды, ни ему не понять их суровости...

Но вот его глаза останавливаются на чем-то близком, родном, знакомом... Он быстро идет по спуску к реке, у берегов которой толпятся пустые, нагруженные и полуразгруженные барки. На них уже кончились работы. Рабочие сидят в кружок на палубах и хлебают тюрю из деревянной чашки. «Хлеб да соль, – говорит Павел. – Не знаете ли, братцы, нет ли здесь где поблизости среди вас бельцов, или толоканцев, или суровцев?» – «Есть, есть та-

кие! – отзываются рабочие. – Вот Ивашка у нас будет суровец!» – «А! здорово, земляк!» – говорит Павел, протягивая ладонь молодому парню. «Никак, Павел Лександрыч будешь?» – спрашивает, осклабясь во весь рот, Ивашка. «Должно, он самый!» – «Так, так... Куды?» – «Да вот к вам пока... Приютите...» – «Братцы! – говорит Ивашка артели. – Нужно приютить земляка-то на первое время. Дьячков сын. Вишь, пешком шел, учиться идет... А ведь от нас считают семь сотен верст досюдова...» – «Что ж? Можно. Коли пешком шел, так не побрезгует нашим-то дворцом», – откликнулись артельщики. Павел забирается в каюту и безмятежно засыпает на жестких рогожных кулях...

* * *

Итак, пунктом его отправления в «новую жизнь» была каюта, простая барочная каюта.

Прошел десяток лет. В последний день десятиго года он так резюмировал этот период:

*Я погибал!
Мой злобный гений
Торжествовал...*

Эти строки были произнесены им в полночь на Новый год, который он встретил – одинокий, голодный, беспомощный – в трактире «Крым» на Трубе, в Мрскве.

– Милостивый государь! – крикнул он, после долгого одиночного созерцания трактирного буйства, какой-то темной личности с подбитым глазом, в опорках и в какой-то странной кофте вместо сюртука, когда эта личность тоскливо запускала тусклые взоры за стойку, где красовался соблазнительный ряд бутылок.

– Милостивый государь, – говорил Павел, – не имеете ли вы желания поздравиться со мною с Новым годом, с новым счастьем?

– С полнейшим нашим удовольствием-с! – вспорхнула и духом и телом темная личность. – Мы готовы-с... Потому как в одиночестве, и притом без финансов... Очень лестно... Как прикажете?

– Что?

– То есть насчет поздравления?.. С каким счастьем прикажете, мы так и речь произнесем...

– Не трудитесь! Мы обойдемся без тостов.

Наше счастье с вами – найденный мной в кармане рубль... Выпьемте же за этот рубль, с помощью которого мы можем отравиться целым штофом проклятого зелья.

– С удовольствием-с!

– Милостивый государь, – говорил Павел, чокаясь с темною личностью, когда часы пробили, шипя, двенадцать. – Милостивый государь, я погибал... Понимаете? Но...

*Мой злобный гений
Торжествовал...*

Понимаете, что я хочу сказать этими словами?

– Как же-с! Понимаем-с... Тоже насчет образования можем... Ибо в обер-офицерских чинах... Но по злоумышлению от врагов... – лебезила темная личность.

– Так ты понимаешь, говоришь? – мрачно спрашивал Павел.

– Помилуйте!.. Какой угодно разговор!.. Довольно обучены... В благородных собраниях с дамами имели обращение... Сам его превосходительство...

– Зачем ты лжешь, несчастный, зачем? –

еще мрачнее допрашивал темную личность Павел. – Кто тебя просит? Кто тянет из твоей души эту ложь?.. Ведь я тебя не просил лгать! Ведь я тебя не заставлял! – закричал он, поднимаясь. – За то, что я разделил с тобою последний ломоть хлеба, ты не нашел ничем лучше благодарить меня, как ложью?.. Ты говоришь, что понимаешь меня?.. Да знаешь ли ты, несчастный, что от этой лжи-то царящей я погибал и погибаю!.. Я правды искал, правды, везде – и там, вверху, и здесь – в лохмотьях отверженных и прокаженных... И ложь везде... Как злой дух преследует она меня!.. Пошел прочь от меня!.. Пошел!.. – кричал Павел, скрежеща зубами и сжимая кулаки. – Пошел!.. Я опять останусь один!..

* * *

Морозов и Миртов были товарищи детства; они были сродни по происхождению: один был сын фабричного, другой – дьячка; только Морозов учился в гимназии, а Миртов – в семинарии. Это, впрочем, не мешало им брататься.

Долго Морозов, верный данному обещанию в своем кружке, долго искал Павла и, на-

конец, нашел – в сырой, провонявшей табаком и водкой конуре на Грачевке. Бледен, худ, мрачен был Павел. Это было в конце 60-х годов.

– Петр! – говорил он Морозову, сидя пред ним на каком-то подобии дивана, схватив голову обеими руками. – Петр!.. Я погибаю... чувствую, что гибну совсем. Дальше невозможно жить так... Но невозможно и иначе!.. Я погибаю, потому что не могу уйти от этих отверженных и прокаженных; а быть с ними... Я не могу не пить! Нет, не могу... Я погибаю, но мой злобный гений торжествует!.. Уйти к «торжествующим» для меня невыносимо... Я там погибну, но погибну еще хуже... Проклятая дилемма!.. Где же выход?.. Дайте мне, укажите выход!.. Укажите мне спасение!.. В поисках за этим выходом мой мозг отупел, сердце чуть не надорвалось... И нет, нет спасения!..

– Павел, оно есть, – сказал Морозов.

– Есть? У кого?

– У нас...

– Это у кого же?

– У нас, у «новых людей»... Пойдем к нам – и ты будешь спасен! Ты увидишь! Согласись,

Павел, что ведь, в сущности, подло пить и еще подлее, когда мы свое пьянство окрашиваем в цвет гражданской скорби!..

– О, верно, верно, трижды верно!.. Да будет проклято это зелье, эта ведьма – всероссийская сивуха!.. Если вы нашли спасение только от нее одной – я ваш, юные трезвые философы! – крикнул Павел, стремительно тиская свои ничтожные пожитки в плохой чемоданишко. – Идем к вам!.. Дальше от этого «места пуста»! Я устал здесь... Я задыхаюсь!.. Дайте мне глоток свежего воздуха!.. Может быть, у вас действительно есть «правда»!

А ровно год спустя, также накануне Нового года, Павел Миртов опять сидел в «Крыму», в грязной, вонючей комнате, тускло освещенной висевшей с потолка лампой, за столом, покрытым облитой пивом и вином скатертью. Пред ним сидел мальчишка, лет семи-восьми, в женской кацавейке, с тряпкой на шее, в валеных опорках на голых ногах, один из тех несчастных детей, которых много встречается по большим городам снующими по тротуарам, кабакам и трактирам. Пред ним лежали пироги; ребенок, ухватив один

иззябшими руками, молча и смачно жевал, а его щеки лоснились от масла.

– Ешь, мальчик, ешь!.. Я опять к вам пришел... Ваша ложь прогнала было меня... Сил у меня больше не стало быть с вами, и я ушел искать спасения для себя и для вас, – говорил Павел сквозь слезы, смотря на евшего мальчика. – Бежал я от вас к тем, которые говорили, что у них есть «правда». Ну, и вот, видишь, я опять с вами... Ну, и довольно одного этого, чтобы понять, почему я... Или ты не понимаешь? Нет? – спрашивал он, глядя мальчика по голове.

Мальчик молчал, ел и боязливо взглядывал исподлобья на Павла; может быть, он боялся, чтобы тот не раздумал и не отнял у него пироги.

– погоди, мальчик, придет время – и они придут к нам искать у нас «правды жизни», здесь... здесь!.. Ну, что, сыт? Приходи же завтра опять... У меня, мальчик, праздник: я переверот праздную!.. Да приведи ты ко мне еще таких же, как ты... Мы с вами «обстановку» разрушать начнем!.. Хватит нам!..

Мы и не заметили с Петром Петровичем, как проходили в саду около двух часов. Морозов увлекся, приводя мне разнообразные иллюстрации к общей идее «современного цыганства».

– Ну, теперь зайдемте-ка на ферму, – сказал Морозов, – нужно взглянуть... Потом уж и разбудим Павла, будет ему дрыхнуть.

Но едва мы повернули в боковую аллею, ведущую к ферме, как нам навстречу показались Павел и Лизавета Николаевна.

– Они уже нас предупредили! – сказал Морозов.

– Да, брат, предупредили, – отвечал Павел. – И, скажу тебе, я очень рад, что твоя супруга предупредила тебя... Сударыня! Вы не обидитесь, если я скажу такое лестное изречение: женщины обладают способностью всякую мужскую идею возвести в квадрат...

– Или, иначе сказать, всякие пустяки возвести в перл создания? – улыбнулась Лизавета Николаевна.

– Сударыня! это смотря по идее... Да, брат, –

сказал Павел Морозову, – ручаюсь, что тебе никак не удалось бы рекомендоваться мне «совершенно новым человеком» так, как это сделала, за тебя твоя супруга... Может быть, ты, по свойственной человеку деликатности и смирению, кое-где умолчал бы... кое-где покраснел бы... кое-где замялся бы... Ну, а тут уж все начистоту рекомендовали... без всяких сомнений, недоумений...

– Вот это и плохо, потому что, в сущности, тут недоумений и сомнений очень много, – возразил Морозов серьезно.

– У тебя вечные сомнения! – крикнула Лизавета Николаевна. – Это уж черта твоего характера... Вот ты и переносишь свои личные недоумения на самое дело, которое...

– Которое?.. Виноват, извольте продолжать, – перебил Павел.

– Которое совершенно точно, ясно и определено...

– Совершенно верно, сударыня... Я повторяю: мужчины никогда не обладают такою искренностью... таким, так сказать, прямолинейным отношением к делу, как женщины... Да, брат Петя, ты напрасно умаляешь значе-

ние своего дела... По-американски, черт возьми, устроено!.. Я не ожидал, что ты такой практик... Я полагал, что ты больше теоретик... И все на основании «последнего слова науки»?

– Что?

– А вот это подведение-то к одному знаменателю?.. А ловко! Я не ожидал, что «новые идеи» могут на практике давать такие блестящие результаты... А каковы рабочие?.. Мужики?.. Все кровь с молоком, здоровы... и трезвые... Вот это главное – для прямолинейности-то... Потому ведь пьяный человек, по сущности, более имеет склонность шататься сему и овамо[32]... Какая уж тут прямолинейность!.. Ну и что ж, все это достигнуто дарвинским «подбором»?

– Ты, Павел, совсем изострился, – заметил Морозов, когда мы входили на лестницу террасы.

– Напротив... совершенно искренно говорю... Ну, скажи, пожалуйста: много ли у нас таких блестящих результатов подведения мужиков к одному знаменателю?.. Ты сам знаешь, какими слезами обливаются сельские

хозяева в своих собраниях. Нет, брат, честь отдать тебе! Прямолинейно! Сам, думаю я, Угрюм-Бурчеев, незабвенной памяти, и тот бы в умиление пришел... А уже на что был практик по части подведения мужиков к одному знаменателю!.. Однако черт знает как я скоро стал ослабевать! – почти беззвучно произнес Павел и тяжело опустился на диван, когда мы вошли в гостиную.

Лицо его стало мрачно и сердито: казалось, в уме его мелькнула мысль о смерти. Морозов тоже заугрюмел; в выражении его глаз светились досада, обида и грусть.

– Павел, мы перестали понимать друг друга... Это плохо! – сказал он, не обращая внимания на последние слова Павла, когда Лизавета Николаевна вышла.

– Напрасно, мой друг, ты так думаешь!.. Значит, ты плохо усвоил себе то, что разумею я под словами «хамство идеи»... Ты думаешь, я не знаю, что тебя, как человека честной души, мучат недоумения и сомнения? Знаю, брат... Но знаю и то, что, не имея в виду ничего лучшего, ты рабски, как хамово отродье, тянешь старую канитель и не находишь сил

порвать крепостные цепи, которыми приковали тебя к себе старые божки... Верно, брат, это? Верно ведь?

– Верно... Но верно и то, что не могу я идти и к вам... Если у нас хамство, как ты говоришь, то у вас...

– Свинство, хочешь ты, может быть, сказать? – перебил Павел. – Что же? Вали... не впервой... Слыхивали и такие словца... Только, брат, зачем же к нам?.. Мы к себе уж никого не зовем... Мы люди отпетые...

– Но ведь должно же быть у вас что-нибудь впереди, что вы ищете, к чему вы стремитесь...

– Есть, мой друг...

– Что же?

– Койка в университетских клиниках, – проговорил снова почти беззвучно Павел.

Морозова передернуло было от досады (он не любил не прямых ответов), но, взглянув в лицо Павла, только теперь, казалось, он понял, что тут уже с «жизнью покончен расчет» и остается одно: *de mortui aut bene, aut nihil* [33]... По-видимому, это ужасно поразило его; хотя он сам говорил, что «они – обреченные»,

хотя он чувствовал, что «стоило только дунуть, чтобы Павел рассыпался прахом», но так ощутительно почуять близость конца, так почти воочию увидеть веяние смерти над дорогим существом, как заметил это Морозов по лицу Павла, было ему не легко. Сострадание, прощение, любовь снова, как и раньше, согнали с его лица выражение досадливой грусти.

– Покой, брат, нам нужен... Но, понимаешь, абсолютный покой... Только в абсолютном покое, в смерти, и есть абсолютная справедливость, – тихо и медленно говорил Павел. – Чувствовал ли ты когда-нибудь эту жуткую потребность покоя-смерти? Нет, ты еще не чувствовал... Для этого нужно «отжить», как мы...

– Полно, Павел, полно... Это вздор, – заговорил с участием Морозов. – Знаешь это:

*Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой!..*

В особенности для вас – художников...

– Нет, брат, и нам есть конец. Чувствую, что будет... В этих терзаниях мозг отупел...

нервы притупились... Чувствую, брат Петя, мысль меня оставила... Уже и самые образы в моем воображении являются туманными, без плоти и крови... Случалось ли тебе наблюдать, как умирает в чахотке смышленный в своем деле врач? А мне случалось... Жутко, брат, со стороны смотреть было, а он мне рассказывает: «Вот, – говорит, – чувствую, как уже вся внутренность, все внутренние оболочки перешли в катаральное состояние...» Потом помолчит и опять заговорит: «А вот теперь, – говорит, – чувствую, как понемногу парализуется отправление органов... кишки уже парализованы...» Опять молчание... «А вот теперь, чувствую, и почки уж... и мочевого пузырь... Скоро, брат, скоро *ad patres!*»[34]. Каковы тебе кажутся эти «чувствую»?.. Ну, вот и я как художник чувствую, как мысль покидает меня... Мысль... А что мы без мысли? Что? Ведь она-то и есть «божья искра», которая согревала нашу душу, поддерживала нашу энергию, укрепляла нас в страданиях и... питала наше грешное тело!.. Без мысли никто не даст нам гроша... Погибла мысль – и мы погибли от нравственного и физического голо-

да!

Павел стал бледен, только болезненный румянец пятнами лежал на его щеках. Он провел рукою по лбу и смолк.

– А знаешь ли, что мне этот лекарь после того сказал, пред самым уж концом? – спросил Павел.

– Что?

– «А все же, – говорит, – Павлуша, мы с тобой летом еще в Эмс хватим. Что же, – говорит, – и нам можно... У меня есть кое-какие гроши... ребятишкам хотел было оставить... Только бы вот весну-то переждать!..» Ишь чего захотел – в Эмс!..

– Ну, вот видишь, – сказал Морозов, – жизнь свое возьмет!

– Да, а через полдня он умер, этот лекарь-то... И выходит:

*Надежда, надежда,
Мой сладкий удел!
Куда ты, мой ангел,
Куда улетел?*

А скажи, пожалуйста, говорят, где-то здесь некий лекарь (кстати уж, коли пошло на лекарей)... некий лекарь Башкиров прожива-

ет?..

– Проживает...

– Слыхал я о нем кое-что... Ты его знаешь?

– Знаю... Да ты вот что... перестал бы говорить-то много... Ляг лучше... Вот тут и подушка есть...

– Ну, ладно... Я лягу, а ты мне все же расскажи про него, что знаешь... Я буду молчать и слушать... Может быть, и засну, так уж ты извини... На меня нынче спячка иногда находит. Зловещий, бр-ат, признак.

– Будет тебе!

– А твоя супруга сюда не придет?

– А что?.. Лежи... Я предупрежу ее, не конфузюсь...

– То-то... А то я теперь надлежащим джентльменством не обладаю... А она все насчит «украшения жизни»... Все уговаривает, чтобы я здесь остался... «Для „высоких дум“ самое, – говорит, – удобное место... Вы, – говорит, – скрасите нашу жизнь... А ведь эти подвалы, чердаки да „комнаты с небилью“ – гибель для вас...» Еще бы! «Я, – говорит, – и Башкирова приглашу... А то, – говорит, – все мы врозь глядим, – вот, – говорит, – настояще-

го-то дела и не выходит». Славная она такая женщина, добрая... Да ведь и в Питере много было их, хороших-то женщин, а все же я утек.

– Ну, так или иначе, а я все-таки тебя не отпущу, – сказал Морозов.

– Да куда уж мне!.. Я, брат, и сам радешенек, что хоть есть приличное место для «исхода души»!.. Будет уж, помытарствовал!.. Да, ну так что же о Башкирове-то знаешь?

– Знаю я не особенно много, – сказал Морозов. – Вы, кажется, тоже интересовались им? – спросил он меня. – Так вот и кстати.

Павел вытянул вдоль дивана свои тонкие ноги, положил руки на грудь и сурово стал смотреть в потолок*.

– Я только два раза и видел его, перед тем как он поселился около нас, в избе, – начал Морозов. – ...Однажды я его встретил в Москве, на студенческой квартире у одного довольно обеспеченного студента... Он только что кончил курс. Он уже и тогда поразил меня своею оригинальностью, а в особенности я был поражен тем, с каким уважением относилась молодежь к нему, к этой невзрачной, смирной, застенчивой личности... А он

только и делал, что добродушно улыбался да краснел и потел... Говорить он, кажется, вовсе не умел... А между тем тут, по обыкновению, ораторствовали вдоволь, и каждый оратор в конце речи непременно обращался к нему с вопросом: «Как вы на это взглянете, Иван Терентьич?..» И все смотрели на Ивана Терентьича, пока он медленно вытягивал из-под дивана ноги и приводил в движение язык, чтобы только сказать: «Что ж! Ничаво... дело хорошее, ежели вообще-то взять...» И, изрекши это, опять усаживался в угол... К концу вечера хозяин, который, кажется, очень заискивал у Башкирова, обратился к нему опять, наверное уже с неоднократною просьбою – поселиться у него: квартира была просторная, светлая, сухая... Гости тоже присоединились к хозяину... Башкиров смутился – и не соглашался. Его допрашивали: почему? Приводили все удобства этой квартиры, сравнительно с тою конурой, в которой он жил. Башкиров наконец выпалил: «Да чаво ж я от своих хозяев уйду? К ним, окромя меня, никто не пойдет... А я все ж им малую толику в доходную статью вношу...» С тем и ушел. Начались, конеч-

но, о нем толки; говорили о том, что он жил с какими-то малярами, которые уступали ему маленькую, сырую комнатку, брали с него пять рублей в месяц и все эти пять рублей всею артелью ежемесячно пропивали... Иные считали такой образ жизни оригинальничаньем со стороны Башкирова, но другие жарко его защищали, как может защищать юность своих любимцев.

– Только вы его и видели? – спросил я.

– Нет, и еще раз видел... Я вам опять признаюсь, что, несмотря на жаркую защиту молодежи, Башкиров своею утрировкой уже и тогда произвел на меня впечатление не в его пользу. Но... вот год спустя после этого один молодец, большой руки либерал, затащил меня к нему. Мы пришли к нему уже вечером. Пробравшись через темный и грязный двор, мы вошли в сени, совершенно поглощенные мраком, и целые полчаса искали дверную скобку; наконец нашли. В отворенную дверь повалил пар и слышались целые десятки голосов. Вокруг стола сидели рабочие и пили чай; на столе горела сальная свеча, отчего в большой комнате было очень сумрачно. На

наш вопрос нам указали на маленькую дверь в стене. Отворив ее, мы, наконец, попали к Башкирову. Комната была длинная и просторная, но почти ничем не меблированная, кроме письменного стола с лампой, покрытой бумажным зеленым абажуром, трех стульев, двух простых сосновых табуреток, кушетки, очень похожей на корыто, так как середина в ней провалилась, и железной кровати, купленной по случаю в больнице, даже с доской, прикрепленной на палке у изголовья; на ней, кажется, и тогда еще я заметил полустертую латинскую надпись. Башкиров встретил нас в потертом пальто, с растрепанными волосами и в ночной семинарской рубашке, завязанной у шеи грязными тесемками... Черные брюки у него попали за спустившиеся от дряхлости рыжие голенища, из одного сапога высовывалась какая-то тесьма, которую он, ходя, возил за собою по полу... Как видите, и до мелочей все заметил, и это именно потому, что я был уже предубежден и видел во всем утрировку... Может быть, впрочем, ее и не было, но уже все так складывалось, как нарочно... Встретил он меня с моим либералом не

особенно радушно, хотя либерал мой и называл его своим приятелем. У него были гости: два мастеровых в нагольных полушубках, которые тотчас же было начали прощаться, но он их не пустил и усадил опять. А на кушетке сидела одна чрезвычайно странная личность: я не мог определить, сколько ей было лет. Длинные нечесанные волосы падали на плечи, лицо заросло белесовато-рыжею бородою, глаза блуждали; поверх выпущенной за пояс рубахи надет был широкий засаленный полукафтан, какие носят послушники[35] и дьячки; из-за неприкрытых пол смотрели грязные белые штаны. Пока я вглядывался в эту странную личность, она вертела бестолково пальцами и, наконец, вдруг схватила стоявший за нею у стены посох с птицей вместо набалдашника... Башкиров, разговаривавший до этого с моим спутником, который предлагал ему принять участие в какой-то филантропической затее, тотчас же обратился к юродивому; этот понес обычную чепуху, в виде откровенных изречений – об отрешении, о пустыне... об обличениях на площадях, что будто бы он проповедовал на базарах, за что «терпел» и

«нес крест» по полицейским кутузкам. Башкиров, нужно вам сказать, с чрезвычайным вниманием вслушивался в слова юродствующего. Мой спутник напрасно старался прервать эту болтовню. Башкиров только мельком взглядывал на него, мыча что-то в ответ, и опять обращался к юродивому... Это уже выходило из всяких границ, по крайней мере по мнению моего спутника. Он не вытерпел и, как-то заездив на стуле, вскрикнул: «Послушай, Башкиров! Ведь это черт знает что такое! Неужели тебе не наскучило слушать дребедень дармоеда?..» Как вы думаете, что случилось с этим застенчивым, тихим и смирным Башкировым?.. Он освирепел: башкирские глазки его обратились просто в узенькие щелки, из которых сверкал огонь, лицо налилось кровью, мне даже показалось, будто волосы поднялись на его голове... Он медленно повернулся к моему спутнику и отвечал не тотчас, по обыкновению; помолчав секунд десять, он проговорил своим обыкновенным неторопливым голосом: «Ежели кому неохотно уважать моих гостей, такового прошу не утруждать себя знакомством со мною». – «Ну,

ты сегодня чрезвычайно странно настроен, – перебил его мой знакомый, в замешательстве ища шляпу. – Мы коли придем лучше к тебе в другой раз...» Башкиров молча опустил на стул и, пыхтя, смотрел на нас, как будто дожидаясь, когда мы уйдем... Признаюсь вам, положение мое было невыразимо глупое... Выбравшись на божий свет из мрачного затхлого подвала, с которым так гармонировала и душная духовная атмосфера в нем обитавших, я выругал и своего либерала, и Башкирова. Я был ужасно рассержен... С тех пор я уже не сталкивался близко с Башкировым; но его красное, освирепелое монгольское лицо так и застыло в моем воображении... Я и до сих пор иначе не представляю его себе... Боюсь я его, – закончил Морозов и улыбнулся. Павел молчал.

– Павел, ты спишь? – спросил Морозов.

– Кто? Я? – вздрогнул Павел. – Нет, кажется, я не спал... кажется, я о чем-то думал... Да!.. Вот что: пойдем-ка к тебе в кабинет... Я там, кстати, выпью... Мне легче будет... Но вот еще что: у меня есть заяц.

– Какой заяц?

– Собственно уж не заяц, а инвалид заячьей породы. Нога у него перебита. Мальчишки, чай, деревенские, шельмецы!.. Экая у них эта дикость. Никакой гуманности! Я отдал его на соблюдение твоим фрейлинам. Так уж ты, пожалуйста, прикажи им, чтобы пооблюли его.

– Ну, хорошо, хорошо!

Павел пошел в кабинет, а я стал прощаться с Морозовым.

– Как он своими «переворотами» напоминает мне такого же чудака – моего отца, – сказал Морозов, провожая меня. – Такой же был! Должно быть, и в этом сходстве есть какая-нибудь органическая связь. Может быть, потому он мне так и дорог.

IV

На третий день, ранним утром, свершая свой обычный моцион по полям и рощам, я случайно проходил по задам морозовской усадьбы, сплошь заросшей в этом месте густым парком, почти обратившись в лес. Из маленькой калитки, уцелевшей в полуразрушенном заборе, мне навстречу показалась фигура, на длинных тонких ногах, в поярковой шляпе, с саквояжем в одной руке и с лукошком в другой. Я тотчас же узнал в ней Миртова.

– Павел Иванович, куда вы? – окликнул я. Миртов остановился и стал вглядываться в меня.

– А! это вы! – сказал он, как будто несколько смутившись. – Вы туда? – показал он по направлению к морозовскому дому. – Пожалуйста, не говорите, что меня встретили. Я утекаю-с. Да-с, утекаю, самым мазурническим образом... яко тать в нощи, – прибавил он почти шепотом.

– Да что же такое?

– Не мог-с, никак не мог-с иначе. Такая уж

натуришка! Это я не впервой так. Ну, знаете, если уйти по-джентльменски, так пришлось бы объясняться. Я их люблю... и уважаю... поверьте. Ведь они, в сущности, хорошие, славные люди... Петр Петрович очень хороший человек, ну и супруга его... Да?

– Конечно.

– Ну, так вот видите: стали бы упрашивать, требовать объяснения... А я бы не устоял, никак не устоял бы. Потому что, первым делом, я никого не желаю огорчать.

– Вы куда же?

– Я? К Башкирову-с.

– Да вы идете в противоположную сторону! Вы знаете, где он живет?

– Доподлинно не знаю, но спросил бы кого-нибудь. Вы не укажете ли мне? А сюда я зашел-с нарочно... место глухое... так чтобы потихоньку пройти...

– Хорошо. Пойдемте вместе, я вам укажу.

– И прекрасно! Отправимтесь!

Павел, обремененный всем своим имуществом, зашагал впереди меня.

– Но что за причина? Ведь вы больны. Вам покой нужен. Вы же сами третьего дня, по-ви-

димому, рады были отдохнуть в тишине деревенского уединения?

– Это так-с... Да... верно... Только уж умереть мне иначе нельзя, как в клиниках. Это также верно. А утек я потому... Видите: все тут уж очень «прямолинейно»... Эти эксперименты над мужиками «по последнему слову науки»... Новые фермеры, откормленные с вящими научными целями... А у меня грудь от этих «пейзажей» щемит. Нет, уж вы, пожалуйста, не говорите им, что встретили меня. Ведь они люди хорошие. Зачем же их огорчать!.. Теперь куда же прикажете повернуть? – спросил он, когда мы прошли мимо парка.

– А вот сюда.

Павел нарочно, кажется, зашагал быстрее, чтобы избежать объяснения со мною.

Мы прошли по задворкам все село. Я показал ему избу Башкирова и распрощался.

В этот же день я должен был уехать верст за двадцать. Мне пришлось навестить Морозовых только спустя уже неделю. Меня встретила Лизавета Николаевна и тотчас же, не дожидаясь моего вопроса, сообщила мне об ухо-

де от них Миртова.

– Я уже знал это в тот же день.

– Вы знали? Что ж вы не сказали нам? Отчего вы не зашли к нам тогда?

– Я обещал ему не говорить вам.

– Господи! Что это за странные люди все у нас! – сказала Лизавета Николаевна. – Только посредственность у нас нисколько не странна, но все, что мало-мальски выше этой посредственности, все это – странные люди, к которым не знаешь, как подойти, не знаешь, как любить их. Петя после его ухода стал еще мрачнее.

– Вам неудачи все.

– Да. Я теперь еще яснее вижу, что для нас, может быть, все кончено. И какой он чудак, этот Павел Иванович. Ведь он так слаб... ведь он мог умереть где-нибудь на дороге!

– Где ж он теперь?

– А вот Петя вам скажет, – сказала Лизавета Николаевна, когда в зал вошел Морозов.

– Вы спрашиваете о Павле? – спросил он меня. – Вот полюбуйтесь, – прибавил он каким-то разбитым голосом, кладя предо мною на стол письмо.

Я привожу его дословно (впоследствии я получил от Морозова это письмо вместе с другими бумагами).

«Дорогой мой Петр! Наконец я в центре самого лучшего тепла и какой-то милой, безмолвной тишины, то есть в клинике, в 18-й палате, на Рождественке. Да, брат, наконец в клинике! Наконец на один шаг от абсолютно-го покоя... чую близость могилы, которая обоймет меня своими холодными объятиями, и из нее уже некуда будет утечь!.. Finis!..[36] Впрочем, и теперь я уже никуда не могу утечь: ноги отнялись, больше лежу и созерцаю. Большую часть времени пребываю в забытии. Вот оно – предчувствие абсолютного покоя – смерти. Я уже и теперь почти мертв, почти уже снизошел в область этого абсолютного покоя, если бы... черт бы их совсем побрал!.. если бы слишком усердные юные жрецы науки не напоминали мне ежедневно, что я жив, обращаясь со мною, как с автоматом, с трупом. Мне это ужасно обидно, и я постоянно ругаюсь с ними, желая хоть чем-нибудь заявить, что еще я живой человек, что я еще не просто cadaver[37], любопытный для них с на-

учной точки зрения. В особенности ненавижу я одного из них: какой-то прилизанный студент с оловянными глазами, до умопомрачения обуянный желанием выказаться перед профессорами. И ради этого он мучает меня по целым часам! Но что всего обиднее: по роже его вижу, что подлецу капитал хочется нажить, из науки некую дойную корову сделать!.. Всем, брат, хороши клиники, только скверно сознание быть препаратом этих господ. Впрочем, от них я начинаю избавляться. Кажется, решили, что я скоро умру и потому интересного во мне уже мало. Но зато явился другой мучитель. Как раз рядом со мною поместился какой-то оболтус, выше сажени ростом, с телячьим взглядом и брайтовой болезнью. Ты не можешь представить, чего стоит мне этот человек?.. Неужели это еще не последнее испытание, посланное мне жизнью, даже без возможности „утечь“ от него!.. Нет, уж это, должно быть, последнее. Представь, я лежу, нарочно закрывши глаза, но сам чувствую на себе телячий взгляд этого болвана. Он с невероятным постоянством выжидает, когда я открою глаза. И едва я успею их от-

крыть, чтобы хоть только чихнуть, как уже с широчайшею улыбкой оболтус несется ко мне и начинает, и начинает. Ни один бес на том свете не придумает хитрее мучений. В продолжение двух часов он сыплет на тебя статистикой, финансами, политической экономией, Вреденом и Бакстом, Шульце-Деличем и Бастиа и в заключение вынимает из-под подушки рукопись. О, ужасная рукопись! Я запомнил ее заглавие, чтобы не забыть и на том свете. Она называется „Опыт строго научного исследования о благосостоянии народов: ссудо-сберегательные кассы, как вернейшее средство... от блох, клопов, тараканов...“ Тьфу!.. нет, не так! (извини, не хочется зачеркнуть), как „вернейшее средство от современных экономических зол“... Эту рукопись он называет „рассуждением“ (!), имеющим быть представленным на степень „молодого нашего ученого“... то бишь на степень магистра Московского университета. С каким удовольствием утек бы я от этих „молодых наших ученых“ на мою милую Грачевку! Но черт с ним! Говорят, завтра переведут его в другую палату. И тогда уж наверно – абсолют-

ный покой!.. Постой, дай отдохнуть... Я ведь пишу урывками! Дай полежать часок в забытьи: славно уж очень это забвение-то! Славно и то, что я умираю один, один, в полном смысле этого слова. Стариков моих ведь уж давно нет вживе. Друзей... но виноваты ли они, что я всю жизнь „утекал“ от них?.. Кто же виноват в том, что я один? Я сам, что ли? Ну, подожди до завтра. НВ. Заяц мой издох дорогой. Не вынес и он, бедняга, цыганства!»

«Утро. Я уже встал. Все еще спят... Тихо... Да по утрам и чувствую я себя лучше. Побеседую с тобой еще. Ты, вероятно, на меня огорчился, что я и от тебя утек?.. Что делать, Петруша! Это – фатально... Ты сам ведь человек умный, и, кажется, сам развиваешь последовательно теорию „российского цыганства“... Что ж огорчаться-то?.. Но ты, может быть, огорчился не на то, что я утек вообще, а на то, что я утек к Баш-кирову?.. Брат! Ведь я еще тогда живой человек был, а не „загробный“, как теперь. (С тех пор как я уже лишился возможности „утекать“, а следовательно, заживо, так сказать, поступил в полное распоряжение меня окружающих, я потерял свою личность,

провиденциальный смысл ее, специфическую сущность; ergo[38] – я уже теперь „загробный“.) Жажда искания „правды жизни“ жила, брат, во мне до того последнего момента, когда подкосились ноги и я уже очутился не в состоянии ходить на поиски этой „правды“ и утекать от „неправды“... Мог ли же, брат, я отказаться услышать еще новый ответ на запрос о „правде жизни“?.. И я утек от тебя, но утек и от Башкирова, утек после того еще раз от тех, кого встретил после него... и, наконец, как видишь, добрался до предназначенного мне свыше пункта – до клиники. Может быть, ты хочешь знать, почему я так скоро утек и от Башкирова?.. Как тебе сказать? Вообще это трудно объяснить... Ведь и все свои перевороты я совершал как-то больше непосредственно, чем ясно сознательно, больше под давлением каких-то смутно чувствуемых мною стимулов, вроде, например, того, что у меня грудь начинает щемить, сердце ныть или вроде внезапно охватывающей меня боязни... (Скажешь ты, пожалуй, что это плохие резоны; я и сам знаю, но я привык верить им – и редко ошибался... Непосредственно чу-

тье имеет свои права.) Нечто вроде этой внезапной боязни охватило меня на другой же день моего пребывания у Башкирова. Но только я испугался не его, как ты. Он совсем не так страшен, как показался тебе. Он человек добрый, славный. Иногда он проделывает кое-какие „выверты“, ну, да русский хороший человек без этого еще не может обойтись, нужно полагать... Это, полагаю, оттого, что хороший русский человек слишком способен чувствовать сам то, что он хороший человек, – как ребенок, сделав похвальное дело, ходит гоголем, с блестящими глазами, с пылающими щеками... Это подчеркивание хороших черт в себе – удел молодости, в первый раз почувствовавшей в себе самобытные силы... Со временем это пройдет, как проходит это подчеркивание, когда юноша сделается мужем. Принял меня Башкиров радушно и предложил даже полечиться у него „по-деревенски“... И я рассчитывал надолго остаться у него. Когда я вошел в его чисто прибранную избу, просторную и вместе уютную, на меня повеяло чем-то родным, близким... Детством моим пахнуло на меня... Припомнилась род-

ная изба... В переднем углу висел образ Спаса, хорошего, так называемого „строного“ письма; перед образом лампадка (мать у Башкирова – богомольная старушка). Под образом сидел постоянно седой старик, глядевший кротко своими, уже давно, как кажется, ничего не видящими очесами[39]. Седая борода его сваллась и висела двумя длинными косицами. Он был в простой изгребной рубахе[40] и синих портах, босиком... Тихий, вздрагивающий свет лампадки лился на его покойное, старческое лицо... Я не мог оторвать глаз от этого старика... То напоминал он мне моего деда, то вызывал в памяти ряд родных деревенских картин... Он вновь вызвал было на мгновение во мне творческую мысль. Он напомнил мне другого такого же старца, которого я раза два прежде встречал на сельских базарах в храмовые праздники. Может быть, и ты припомнишь такую картину. (Не велено мне много писать, ну, да уж не могу удержаться! Вспомню хоть последний разок свою родину!)

Большая площадь в селе полна народа,двигающегося у возов. В конце площади – ка-

менная посеребренная церковь с маленькою оградой вокруг; зеленая лужайка близ нее; на лужайку падает длинная тень, и в этой тени кучка баб с котомками, слепые нищие... С колокольни несется пронзительный звон „к отходу“; одни выходят из церкви, другие, запоздавшие, торопятся в нее... Слепые нищие стараются петь еще громче... Но вот в стороне вы видите толпу... Она собралась около высокого седого старика...

Вот уже двадцать лет, как и зимой, и летом, в валеных, истоптанных, с пробитыми подошвами сапогах, в засаленной, когда-то сшитой из хорошего „дворянского“ сукна чуйке, с головой, покрытой густою седою гривой вместо шапки, ходит он в сопровождении своего неизменного спутника, „глупенького“ мужичонки Стешки, по всем окрестным градам и весям... Давно всем и каждому знакома и его широкая, сбитая в войлок седая борода, которую приглаживает он заскорузлою ладонью, и его добрые, „по глупости“, как говорят, глаза, и его высокий лоб, на котором многие видят следы бывшего у него прежде „крепкого рассудка“... Любил простой народ слушать

этого „блаженного“ старца, когда он, „изыдя на площадь“ во время базаров, начинал „про-вещать“ что-то, помахивая легонько своею клюкою и медленно поглаживая бороду... Часто прислушивались к его речам не только простой народ, а и „умные“ люди – сановитые купцы, образованные чиновники и начальство, да ничего не поняли в его мягко лившейся безалаберной речи... „И чего эти дураки его слушают!“ – удивлялись только образованные люди... Но слушали его эти дураки не так, как люди образованные, не хитрым умом внимали его речи, а глазам их приятно было читать на его лице то „блаженное“, что разливалось по его лицу и искрилось в его полубезумном взгляде, – сердцем и душой слушали они его... Подойдет к толпе старушка больная, долго и пристально взглядывает она на него и совсем ничего не слышит, а вдруг слезы и польются у нее ручьем, и польются... Шепчет молитву старуха, крестится и посылает „блаженненькому“ всякие добрые пожелания... „Что, старушка, плачешь?“ – спрашивает ее мимоходом бойкий и добродушно-любопытный сын народа. „А вот, красавец, Пиме-

ныча послушала... Посмотрела, как это от его лица такая ли мягкость да доброта исходит... Вот и плачу, и полегче мне стало...“ – „Ну, дело хорошее! Так, так... От Пименыча речей, пожалуй, умней не станешь, а что душевнее будешь – это верно...“

Вот картина, вся освещенная ярким летним солнцем, обливающим своими лучами пыльную площадь, на которой совершается купля-продажа тяжелого народного труда...

Я передал все эти, охватившие меня воспоминания, Башкирову. „Ведь вы, известно, художники! – сказал он, добродушно улыбаясь. – А что вот ему с голоду пришлось было умирать под старость, так это тоже своего рода картина!..“ И долго мы в этот вечер проболтали с Башкировым о народе... И ведь чудак – сам оказался таким же идеалистом! Как глубоко он чувствует и как беззаветно верит!.. Ну, мы, наговорившись, наконец, уснули... Старик давно уже спал на той же лавке под образами... Было два часа, а я еще не засыпал: вызванные стариком в моем воспоминании картины деревни, как в панораме, цепляясь одна за другую, бесконечною вереницей вста-

вали в моем воображении... И... что я вижу?.. Во сне или наяву? В щель перегородки мне виден весь старик... Он поднялся, осмотрелся и, крадучись, стал развязывать на худых ногах онучи... Бережно, при свете лампадки, развернул он эти провонявшие и прогнившие почти тряпки... Дрожащими старческими руками, боязливо и чутко оглядываясь, стал он считать... деньги!.. Мне стеснило грудь, слезы подступили к горлу... Я чуть не зарыдал... Я завернулся с головой в одеяло, но спать уже не мог... Едва забрезжилось, я поднялся, сказал Башкирову, что я ухожу, – и вышел. Старик уже стоял на крыльце и, обратясь на восток, молился, едва держась на трясущихся ногах и цепляясь рукой за перила крылечка... Он посмотрел на меня своими бесцветными глазами... Не обертываясь, я побежал прочь, все дальше и дальше от этого взгляда... Но он преследует меня и теперь! О, этот старик!.. Ты, может быть, спросишь меня, как и Башкиров: „Да что же тут такого?“ Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня... Я чувствую только, что мое сердце ноет и ноет, что демон лжи не оставляет меня даже у по-

рога могилы...

Прости, больше не могу... Рука ослабела... Устал... Лягу сейчас. Если бы забыться! Но этот демон лжи, развративший мою родину!..»

Здесь письмо кончалось словами, уже написанными, очевидно, после: «До свидания, Петр. Когда ты получишь это письмо, я, вероятно, уже буду на Ваганьковском... Вспоминай иногда мою „злохудожную“ душу!.. Таких, как мы, уже, вероятно, не будет больше или, по крайней мере, – не должно быть... Мы сделали свое дело:

*Мертвые в мире почили,
Дело настало живым!*

Вот мое завещание...»

– Он не умрет еще! – сказала Лизавета Николаевна. – Этот покой, который был ему так нужен, спасет его...

– Он умер, – промолвил Морозов. – Умер?!

– Да. Я сегодня получил телеграмму из Москвы.

Мрачен был Морозов, говоря эти слова. По-видимому, посещение Павла и его скорая

смерть произвели на его душу глубокое впечатление.

Глава девятая

Накануне

Наступившее ненастье надолго засадило меня в моей избе, тесной, душной, с маленькими окнами, с плохими рамами, привязанными бечевками к косякам, с бесконечным количеством мух и запахом кислой прошлогодней капусты, которую усердно ели мои хозяева, в ожидании свежей, пользуясь постом, запрещавшим им есть скоромное, которого у них оказалось очень мало. Мелкий дождь семенил с утра до вечера. Небо хмурилось кисло и слезливо. Скучно в ненастье досужим людям в городе, а в деревне еще скучнее. «Лоно природы» обращается в нечто грязное, мокрое, вязкое. Прекрасные поселянки становятся злее, хмурее и молчаливее. Очень могло случиться, что в качестве досужего человека я окончательно затосковал бы от деревни, если бы не произошло одно обстоятельство, которое несколько нарушило гнетущее однообразие деревенского ненастного дня. Это обстоятельство вызвало на улицу

всю деревню и дало свежий материал для беседований. Обстоятельство это, если хотите, было очень обыкновенное. Как-то раз, утром, когда вороны каркали особенно настойчиво и надоедливо, через деревню проносили покойника. Впереди, задолго еще до гроба, показался мальчуган с почернелой иконой в руках, которую он держал на лоскутке белого холста: чинно и солидно пространствовал он по жидкой грязи среди улицы; два других мальчугана, в огромных сапогах и в длинных материнских кацавейках, с шапками в руках и мокрыми головами, сопровождали его, стараясь возможно шире шагать через лужи. Немного спустя показалась крышка, надетая на головы, принадлежавшие, вероятно, тем двум синим сибиркам, которых длинные полы развевались на ходу из-под крышки. Наконец показался и гроб, вымазанный охрой, покрытый вылинявшим и окончательно потерявшим позолоту стареньким церковным покровом. Шестеро мокрых мужиков несли его на серых холстинах. За гробом торопливо шли две старухи; одна из них несла в руках узелок с медом и кутьей. В них я признал Пав-

лу и Секлетею. Рядом с ними шел Башкиров, в больших сапогах, в старом черном пальтишке до колен, без шапки, с повязанными носовым платком ушами. Несколько сзади ковылял хромой мужик, размахивая одной рукой, в которой была шапка, а другой – опираясь на подог, да какая-то старуха, сгорбившись «в три погибели», трусила за ними и постоянно сморкалась в полу. Едва процессия вошла в деревенскую улицу, как из всех ворот посыпали обыватели. Все крестились, а многие подходили к гробу и кидали гроши в деревянную чашку, поставленную в ногах покойника, и молча кланялись Башкирову. Посредине деревни мужики, несшие гроб, остановились, чтоб перетянуть холсты с одних плеч на другие. Подошли обыватели и предложили от себя «смену». Трое усталых носильщиков согласились. Все разговаривали тихо, шепотом. Раздавались советы: «Держи, держи прямей! Подтяни в ногах-то! Господи Иисусе! В головах-то поддержите! Святой боже, святой крепкий! Ну, теперь ладно! Со святыми упокой!» Бабы, благочестиво сложив на грудях руки, разговаривали со старухами, поглядыва-

вая то на покойника, то на Башкирова, вставшего к гробу на смену одному из носильщиков. Дождь тихо барабанил в сосновую крышку и пробирался за ворота провожавших. Звонко упал в чашку последний грош; процессия тронулась. Оставшиеся обыватели перекрестились, вздохнули и долго еще всей деревней смотрели вслед уходившим. Потом сбились в кучу под одними воротами с навесом и долго о чем-то толковали. После обеда погода начала разведриваться; серые тучи рассеялись и превратились в белые, молочные хлопья быстро мчавшихся по голубому небу облаков; заходящее солнце весело заиграло на мокрой листве и соломенных крышах изб. Собаки вылезли сушиться из-под ворот на солнечные полосы, легшие поперек улицы. Ребятишки отправлялись странствовать по лужам. Деревня повеселела. Я вышел на улицу и завел разговор с первым же проходившим мимо мужиком.

– Кого это мимо вас утром пронесли?

– Пронесли-то? Мужика пронесли. Из соседских, – отвечал мужик и переложил хомут с одного плеча на другое.

– Это тот, что вешаться хотел, да сняли?

– Он самый. От смерти, брат, не спасешь, коли она идет, – заметил он.

– Ну, а Иван-то Терентьич Башкиров при чем тут?

– Иван-то Терентьич? – переспросил мужик и стал внимательно всматриваться в меня. – А вот что я тебе скажу, – неожиданно прибавил он, – ты тут посидишь, что ли?

– Посижу.

– Ну, ладно, посиди коли... А я вот сейчас мигом вернусь, только хомут в избу снесу... Так смотри, никуда не уходи! – крикнул он с дороги, трусцой пустившись к своей избе.

Минут через пять он шел обратно уже без хомута и нес, тщательно рассматривая, какую-то бумагу. Не доходя до меня, он спрятал ее за пазуху.

– Доброго здоровья! – сказал он, подходя ко мне и снимая шляпу. – Вот и ведрышко господь дает. Слава те, господи! Теперь как-никак управимся. А то беда, хлеб весь, того гляди, погноили бы. И ты, чать, поди, рад солнышку-то? Болееешь ведь?

– Да, рад.

– Что ж у Ивана Терентьича не лечишься?
– У меня есть лекарь там, в столице, свой...
– Так, так... У вас свой лекаря. Иван Терентьич точно, по нашим, по мужицким, болезням больше, должно полагать?

– Нет, все одно: и он по всяким.
– Ну, где уж! Это, братец, кто что избрал. Я одна во в городе к лекарю затесался с дурьих глаз, а он на меня как крикнет: «Разве ты не знаешь, что я барынь лечу только!» Нет, это – кто к чему. Тоже ведь с нашим братом не всякому валандаться повадно. От нас барышей-то немного. Это уж кто разве из приательства, – резонировал мой собеседник, а между тем потихоньку вынимал из-за пазухи бумажку. – Ну-ко, вот посмотри, – сказал он тихонько, всовывая мне бумажку в руку, и отвернулся от меня вполоборота, как бы отстраняя себя от всякого соучастия в дальнейшем ходе дела.

– Что же это? Письмо?
– Письмо... Ребятам своим посылаю... в Москву. В Москве они у меня на заработках... В плотничьей артели, – говорил он, изредка оборачивая лицо ко мне.

– Так прочесть тебе?

– Да. Проверку нужно сделать. Потому самый этот писец-то баловаться стал.

– Как баловаться? Он из каких?

– Из наших, из крестьян... бобыль. Что насчет письма – золотой был человек, а теперь только смотри за ним в оба... Избаловался, да и шабаш! Пить, что ли, стал много: балует – да и конец!

– Как же он балует?

– А так вот: ты ему говоришь одно, а он тебе напишет что ни то непотребное... Намедничка что ведь придумал: пишет вот также от одного мужичка. Мужичок говорит: «Пиши: у матки твоей зубы болят», а он написал, что у матки все зубы за ночь повыпали, не пьет, не ест, пришли, вишь ты, ей новых зубов заморских на целый рот... Вот ведь охальник какой!.. Думаем поучить его когда при случае...

– Да ведь он вам читает?

– Читает, как же, как быть надлежит, а потом и объявится какое ни то непотребство... Ну-ко, прочти, да потише! А то услышит – осерчает. Не любит он этих проверок.

Я развернул четвертку серой бумаги, всю исписанную толстым, так называемым «полууставным» почерком, и стал читать. Мужик сидел ко мне по-прежнему боком, наклонив голову, и слушал, сняв шляпу, перекладывая в ней платок и постоянно приговаривая: «Так, так! Как следует! Что верно, то верно!.. Вот-вот, как есть, все мое слово, все!»

Я не стану утомлять внимание читателя воспроизведением всем известных приемов крестьянского письма с неизбежным «к любезнейшим нашим кровным», с «родительским благословением, навеки нерушимым», с отчетами о здоровье всей родни, составляющей чуть не полдеревни, и с вторичным переименованием ее же в отделе поклонов. Я постараюсь воспроизвести только одно место, может быть, небезынтересное для читателя. «А что насчет сведомленья вашего об Иване Терентьиче и, как просили вы, от артели поклон ему передать, так мы все в точности по вашей общей просьбе исполнили, сами со старухой к нему в троицын день ходили и чаем от него угощались, а живет он по-прежнему, и в согласии с нами то ж по-прежнему, и

мы им довольны такожде по-прежнему. А в волости нашей большой вышел сюжет...»

– Вот, вот и пошел... Вот уж я этого слова в жизнь свою не говорил, – перебил меня мужик. – Ну-ко, ну-ко, прочти еще... Вишь ведь, попутал бес!.. Это что же значит?

– Да ничего особенного... Дальше видно, что это означает просто «происшествие», сумятица вышла.

– Ну, это так... так... точно, что сумятица... Так чего ж он эдакое слово ввернул?

– Так, захотел ученостью похвастать...

– Это, пожалуй что... У него эта повадка есть. Он прежде-то к дворне был приспособлен, ну и нашвырялся около бар-то. Это верно... Так оставить это слово-то? А то уж измени лучше, бога для!

Я обещал ему поправить и продолжал читать: «Старух наших Павлу и Аксентью суровецкие на месте их жительства очень убеспокоили и, что касательно земли и разных наложений, утеснили. Слух идет, что от богатеев это все учинилось. А старухи были в большом огорчении, с миром и старшиной тягались. Слышно, уйтить хотят. А Иван Терен-

тьич, слышь, у старшины по этим делам был и со стариками говорил, хлопотал, да тем временем старухи сами решение устави́ли – отойтить. По сей причине старшина наш, Филипп Иваныч, просит себе у начальства увольнение, и как все это покончится – одному богу известно; о старухах же известим. А они вам кланяются и просят нижайше об этом отписать. А Иван Терентьич всем кланяются и будет он к осени опять в столице. И засим мы с маткой живы и невредимы».

– Так, так... это все точно, – перебил меня мужик, – только я тебя попросить хотел бы: пропиши ты тут еще, сделай милость (вот тут чистое местечко осталось), пропиши насчет вот покойника-то, как и что: Иван, мол, Терентьич за ним ходил неустанно, как его с петли сняли, и схоронил на свои капиталы (у мужика-то только одна матка и была старуха, чуть с голодухи не померла), сам на вечное упокоение провожал!

Я сделал мужику все, что он просил.

Наступающие после долгого ненастья ведренны́е дни бывают как-то особенно хороши: воздух, еще несколько влажный, мягок и

свеж; вымытая зелень блестит ярко и пышно, как будто все убралось, вычистилось, выходилось под праздник; по голубому небу весело бегут белые облака, словно гоняясь с вьющимися вверху стрижами и ласточками.

На другой день, совершенно неожиданно, на пороге моей отворенной комнаты появилась сторбившаяся в дверях фигура Морозова.

– Вот и я к вам забрел, – сказал он, с добродушно-суровым выражением подавая мне руку.

– Милости прошу!

– Я все поджидал вас к нам, не утерпел, сам пришел...

– Садитесь, будем чайничать...

– Нет, чайничать не стану, а так побеседуем.

Он было присел, но тотчас же, по обыкновению, поднялся, зашагал по комнате, скрипя половицами, и с добродушной иронией стал осматривать мое «обиталище». Несмотря, однако, на его старание придать своему посещению вид простого, обычного визита, я заметил по его лицу, что оно не было обычно, что он что-то обдумывал; вообще заметно было,

что он пришел неспроста.

– Что вы подделывали за это время? – спросил я. Он быстро повернулся и сел к окну на лавку.

– Собственно, дела никакого не делал, а, если хотите, – приканчивал дела и итоги подводил.

– Итоги? Чему?

– Всему. А прежде всего делам по имению жены, в качестве честного управляющего, который оставляет свой пост.

– Значит, снова снимаете свои шатры? – спросил я шутливо и посмотрел на него. Он опять поднялся и стал ходить, потрепывая бороду.

– Да, снова снимаю свой шатер, – поправил он меня, – должно быть, пора...

– И Лизавета Николаевна?

– Нет, уж это зачем же!.. Будет.

– Одни?

– Один. Что же тут особенного? Нам бы давно уже не мешало брать пример с народа. Беспокойный, неусидчивый мужик, отправляющийся шляться по лицу бесконечной великой и малой России, в поисках за «устоем»,

за тем, «где лучше», не возьмет с собой жены. Вот, когда найдет этот устой...

— А если не найдет?

— Да, и это может быть... очень может быть. Я вам расскажу про одного такого чудачка, очень близкого мне человека. Он уже давно умер. Это был мужик сообразительный, бойкий самоучка. Благодаря этим качествам он скоро пошел в гору, нажил денег и открыл даже собственную фабрику. Энергия и деятельность его были поистине изумительны; не имея раньше за душой сломанного гроша, презираемый всеми, с кем ему приходилось конкурировать, ежедневно бившийся из каждого рубля насмерть, он выказал замечательное терпение и выносливость. Наконец добился всего, чего желал, и именно самостоятельности и какого-то злорадного довольства, что он может теперь плевать в бороду тем, кто прежде его гнал и презирал. И он действительно наплевал. Когда стали лебезить пред ним, он выгнал всех. Семья его вздохнула: супружница завела себе приятельниц и налегла на самовары, которых по десяти в день выпивалось в приятной беседе. Ребя-

тишки щеголяли в плисовых кафтанах, ставили вместо бабок в кон пятаки или писанные пряники. Казалось, чего лучше? Но чудак загрустил и зачудил. Не прошло и полгода, как он запил. Его дом с утра до ночи был полон самой оборванной, самой бесшабашной беднотой. Она тащила правдами и неправдами все, что ей попадалось под руку; сам он раздавал пригоршнями ей деньги, и раздавал с какой-то лихорадочной торопливостью, как будто боялся, что вот-вот скоро заметят это, и целый кагал родни, с женою и ребятишками, повиснут ему на руки и заголосят: «Сумасшедший! Сумасшедший! Вяжите его! Живота своего не бережет!» Действительно, скоро так и случилось, но уже было поздно: он успел раздать все, что у него было. Ужасно было выражение его лица в то время, – выражение насмешливое, злое, когда он смотрел, как жена его с ругательствами каталась, как помешанная, по полу, в отчаянии, что ее лишили счастья выпивать десять самоваров; как ребятишки ходили вокруг него злыми волчатами и, подзадориваемые окружающими, набрасывались на отца с кулачками, с сверкающими

ми глазами. Как много было в них благородного негодования против сумасшедшего, лишившего их возможности есть писанные пряники! Но вот, наконец, чудака не вытерпел и в один прекрасный день, отколотив жену, выпоров ребятишек, взял палку, подвязал за спину мешок, надел лапти и ушел...

Морозов прошелся несколько раз молча и вдруг озабоченно стал рыться в боковом кармане.

– Впрочем, я пришел к вам вовсе не затем, чтобы рассказывать про чудаков...

– А это интересно. Что же случилось с этим чудаком и какое имеет он отношение к вам?

– Что с ним случилось, об этом не нужно много говорить: он скоро нанялся в другой губернии на фабрику, выписал к себе семью – и потекла обычная тяжелая рабочая жизнь... Так он странствовал с места на место... до смерти. А что касается его отношения ко мне, к «моей истории»... я вам на это одно могу сказать: он был очень близкий мне человек, очень близкий... А пришел я к вам вот зачем...

Морозов сел к столу и, вынув из кармана пакет, положил его перед собой.

– Вот зачем, – повторил он, повертывая пакет в руках. – Видите ли, у меня здесь мои записки... Так, иногда находили на меня глупые полосы откровенности... Впрочем, и по другим побуждениям. Собственно, я очень мало предаюсь личным излияниям, но я люблю иногда записывать все выдававшееся в моих глазах. Мне приходилось сталкиваться с разнообразными личностями, в разнообразных положениях, с различными «направлениями»... Так вот это я и записывал... Сам я с своими записками, по крайней мере теперь, ничего не могу сделать... Возьмите-ка вы их. Думал оставить жене, да она ничего из них, кроме «вечного памятника любви», не сделает. Так вот вы и возьмите. Как только придет весть...

– Да вы уж не умирать ли собираетесь? – в невольном изумлении вскричал я.

– Нет, я не собираюсь. Но почему-то мне думается (Морозов лихорадочно стал повертывать в руках пакет все быстрее и быстрее), что вряд ли я вернусь... У меня есть предрассудок: если навстречу попадался покойник, я всегда ожидал, что в моей жизни произойдет

какая-нибудь радикальная перемена. И ведь всегда так случалось! Вчера я еще собрался было к вам, и о записках у меня не было и мысли, но недалеко от нас встретил покойника. Тут был и Башкиров. Я тотчас же вернулся домой и принялся приводить эти записки в порядок. А сегодня, как видите, принес их к вам. Вы, может быть, из них что-нибудь и сделаете...

– Но все же я не понимаю, к чему завешание-то? Ну, не сделаете здесь, сделаете в другом месте.

– А есть у меня, видите ли, другой предрассудок (У русского человека, как романтика по преимуществу, очень много предрассудков: ни наука, ни скептицизм, ни жизнь, часто очень неласковая, не могут еще выбить их из него)... Мне всегда казалось, что мы, русские, очень умеем умирать за других, даже за такое дело, в которое только смутно верим... Но как скоро это самое дело будет наше, будет при том вполне для нас ясно и определенно, ни за что не решимся пойти за него. У нас тотчас же начинается гамлетовщина, анализ, расчет. Так вот я и думаю, что и со мной будет в кон-

це концов то же: за свое дело, реальное, а за романтическую идею, пожалуй, умру...

– Полноте, что вы!

– Конечно, это – предположение... мое личное предположение, но все же...

Петр Петрович замолчал и задумался. Меня поразила его речь; он говорил теперь не так, как прежде; в его словах уже и следа не было добродушной ядовитости и раздражения: напротив, в ней звучали тоскливые, тихие, грустные ноты, какие издает постепенно ослабевающая струна.

– Вот что еще: не говорите пока ничего же-не. Я лучше сам постепенно приготавливаю...

Он опять помолчал.

– И вот еще что: у меня есть один воспитанник... там, в Москве, в техническом училище он... Он из крестьян, мальчиком я его взял. Вы его не знаете... Так вот он приедет скоро. Я ему оставляю кое-какие делишки: артель эту, ну, и другое. Я обо всем ему писал подробно... Так вот он приедет... Ну, конечно, юноша. Будет спрашивать обо мне... Ну, за жену я ручаюсь... А так как после жены знаете более или

менее мою «историю» только вы, да еще одна личность... так я просил бы вас...

Петр Петрович остановился и замолчал, как бы ища подходящего выражения. Но он не нашел его. Он вдруг подошел ко мне и, крепко пожимая мои руки в своих, сказал: «Вы понимаете, что я хочу, чтобы сказали ему... Молодость и вера... Главное – вера... Вот что хотел я, чтобы сберег этот юноша!»

Петр Петрович сел и закрыл руками лицо.

– Впереди меня – тьма, нерассветная тьма, – продолжал он, не отнимая рук, – кругом и сзади – поверженные идолы и потухшие алтари... Я ничего не вижу, не ощущаю, кроме неуловимо быстро сменяющих одна другую стихийных метаморфоз, из которых последняя уничтожает созданное первой. Сжигается то, чему поклонялись, и снова поклоняются тому, что сожигали... Вот каков результат двадцатилетнего опыта. Посмотрите, у меня уже волос седой пробивается... Кажется, я имею право сказать, что назади кое-что испытано... И этим-то результатом я должен отвечать всему, что свежо и молодо, в ком еще бьется бессознательно пульс жизни?!

Нет, никогда не повернется у меня на это язык. Пусть бьется этот пульс, пусть вера дольше, как можно дольше поддерживает это биение. Я никогда кощунственно не посягну на эту веру... Пусть... Придет время, и сама собой разверзнется эта пропасть, где... где, – как это говорили поэты?.. – «где будет тьма без темноты, где будет бездна пустоты, без неба, света и светил...» Видите, и я когда-то не прочь был поэзией заняться!

– Поэзия поэзией, а знаете что? Мне кажется, вы сделали слишком поспешное умозаключение, слишком поспешили «итогами»... Потому, конечно, что чересчур преувеличили свою опытность... По-моему, жизнь, по самой сущности своей, никого не оставляет без ответа, никого не ввергает «в бездну пустоты»... Мне кажется, какими бы струнами ни звучала душа человека, он непременно найдет себе в жизни отклик... Ответов, которыми располагает жизнь, бесконечное множество. Только была бы охота искать... Если бы ваша опытность была в тысячу раз больше, если бы вами были поставлены себе самые крайние вопросы, то и тогда вы не имели бы права

сказать, что жизни нечем ответить вам. Всмотритесь хорошенько, поищите, и вдруг пред вами, где вы и не ожидали, предстанет этот ответ в лице какой-нибудь замухрыстой бабенки, шляющейся по богомольям, или какого-нибудь чудака, вроде приведенного вами... Скажите: вы ведь знаете Башкирова?

– Да, знаю...

– Что это, по-вашему, за личность?

– Башкиров? Башкиров – фанатик... Очень может быть, что Башкировы, эти ходячие односторонние оригиналы, сделают больше, чем мы, любители общих идей, искатели какой-то всеобщей гармонии. Нам всякий диссонанс режет ухо... Мы – аристократы, идейные аристократы...

– А знаете ли что, Петр Петрович? Меня чрезвычайно интересует Башкиров... Сегодня я пред вашим приходом совсем было собрался к нему... И вот по какому поводу...

Я передал ему вчерашнюю похоронную сцену и затем содержание письма, которое читал мужику, с необходимыми к нему дополнениями относительно знакомства моего с Павлой и Секлетеей.

– Ну, что же-с?

– А то, что пойдете-ка сейчас к нему вместе. А?

– К Башкирову? Зачем? – Морозов как будто был несколько удивлен и даже испуган.

– А может быть...

– Что может быть? – быстро переспросил он.

– Да ведь вы, в сущности, очень мало его знаете. Притом же вам должно быть известно, что он «отвечает» Катерине Егоровне... Что у него, значит, есть «ответ», которого нет у вас...

– А что, как вы думаете, вернулась Катерина Егоровна? – спросил меня Морозов вместо ответа.

– Не знаю. Но нужно полагать, что вернулась, судя по ее словам... Так что ж, идемте?

Морозов ходил вдоль комнатки и молчал; потом взял со стола свою фуражку и, комкая ее в руках, еще прошелся несколько раз. Я сел набивать папиросы.

– Нет, незачем!.. Теперь совсем незачем. Теперь уж поздно... Знаете: переломанные кости хорошо и быстро срастаются только в

юности, – вдруг заговорил он. – Прощайте! – Он подал мне руку и, крепко сжимая в ней мою, продолжал: – Прощайте! Наверно, я с вами не увижусь здесь... Может быть, впрочем, что после где-нибудь и свидимся. Если же нет – не поминайте лихом... Вот здесь (он показал на лежавший на столе пакет)... когда прочтете, вы, может быть, будете лучшего обо мне мнения... Во всяком случае, мне было бы обидно, если бы вы думали обо мне плохо... Я вас знаю давно, и вы – единственный человек, которому я могу доверить свою «историю». Когда придет время, вы прочтаете ее и, если будет возможно, прочтите Кате... Катерине Егоровне... она поймет... Но не юноше, о котором я говорил вам... Вы знаете, чего я не хотел бы, чтобы знал этот юноша... Прощайте!

– Да надолго ли по крайней мере?

– Может быть, надолго; может быть, и нет!..

Он надвинул фуражку на глаза, и, сторбившись снова в моих низеньких дверях, его длинная фигура скрылась. У меня сжалось сердце, как будто что-то ушло из него и оста-

вило после себя пустоту. Я любил Морозова, любил его той привязанностью, которая никогда не высказывается, не выражается ни в каких особенно приятельских формах (мы всегда были с ним на «вы» и не допускали между собой никакой дружеской фамильярности); но я любил как-то издали любоваться его симпатичною личностью, его добродушной угрюмостью и раздражительностью и той тихой грустью, которая давно уже оттенила всю его нравственную физиономию. Я отворил окно и перевесился в него, чтобы еще раз взглянуть на Морозова (идти к нему я не хотел, так как он не желал этого, чтобы не увеличить, по-видимому, тяжесть объяснений с женой); он обернулся; его доброе лицо еще раз мелькнуло предо мной. На повороте дороги он немного приподнял фуражку и, спотыкаясь своими длинными ногами, повернул за угол.

* * *

Прошло три месяца; я давно уж покинул деревенское убежище и жил в Петербурге. Здесь я совершенно случайно узнал от одного из возвратившихся из Сербии добровольцев,

что он видел Морозова под Алексиначем.

Об авторе

Николай Николаевич Златовратский родился 14 (26) декабря 1845 года в г. Владимире. Его отец, Н. П. Златовратский, мелкий чиновник канцелярии губернского предводителя дворянства, был сыном бедного сельского дьякона Николо-Златовратской церкви, от названия которой, как считают, произошла фамилия писателя.

О решающей роли революционных демократов-«шестидесятников», всей атмосферы общественной и идеологической борьбы кануна 19 февраля 1861 года в идейном и духовном формировании юного Златовратского писатель ярко и живо расскажет в своей книге «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов» (М., 1911).

В 1864 году Н. Златовратский закончил владимирскую гимназию, одновременно сдав экзамен на звание землемера-таксатора.

Поездки в деревню, знакомство с ее бытом и нравами, землемерская практика не только дали ему обширный фактический материал для будущего творчества, но пробудили лю-

бовь к угнетенному народу, стремление искать пути для достижения блага народного.

В 1865 году Златовратский становится вольнослушателем словесного факультета Московского университета. Не выдержав жизненных лишений и голода, через год переезжает в Петербург и поступает в Технологический институт, надеясь получить казенную стипендию. Ведя и здесь жизнь «голодного пролетария», скитаясь «по углам», вынужден оставить мысль о высшем образовании и поступить помощником корректора в газету «Сын отечества».

Знакомство в ранней юности с «Колоколом» Герцена, сочинениями Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, поэзией Кольцова и Некрасова пробудило страстный интерес Н. Златовратского к литературе, жажду творчества. В гимназии он издает школьный журнал «Наши думы и стремления», пишет стихи «по Некрасову» и «по Кольцову». Несколько юношеских стихотворений Н. Н. Златовратского опубликованы в кн.: Буш В. В. Очерки литературного народничества 70-80-х гг. Л. – М., 1931.

В Петербурге начинается активная литературная деятельность молодого писателя. В 1866 году он дебютировал в журнале «Отечественные записки» рассказом «Чупринский мир» под псевдонимом Н. Череванин. Его рассказы и очерки часто появляются в журналах «Искра», «Будильник», «Семья и школа», в газетах «Неделя», «Новости» под псевдонимом «Маленький Щедрин» и др.

Писатель правдиво рассказывает о своих мытарствах и невзгодах в большом городе, описывает будни служилого люда, городской бедноты, жизнь рабочих стекольных заводов («Рассказы заводского хлопца», 1868–1870), типографских рабочих, крестьян, пришедших в столицу на заработки («В артели», 1876), полупролетарских слоев города («Предводитель золотой роты», 1876), сцены народного и провинциального быта, наблюдения из своей землемерской практики.

Творческие поиски Златовратского в конце 60-х – начале 70-х гг. связаны с демократической обличительно-реалистической прозой той поры, с увлечением сатирами Салтыкова-Щедрина. Некоторые из этих произведе-

ний вошли в книгу «Маленький Щедрин. Сатирические рассказы золотого человека», Спб., 1876.

Свое место в литературе писатель находит в 70-е годы, когда он начал систематически печататься в журнале «Отечественные записки» (где сотрудничал вплоть до его закрытия в 1884 году) и его захватила современная общественная жизнь, литературная борьба.

«...Писательство свое, в лучшем и дорогом для меня смысле, – признавался Златовратский, – я собственно могу считать только с непечатания повести „Крестьяне-присяжные“ в „Отечественных записках“ в 1874 году» (Н. Н. Златовратский. Собрание сочинений. Т. 1–2. М., 1891, т. 1. От автора, с. 7). Повесть была встречена с интересом, особенно прогрессивно настроенной молодой интеллигенцией, принесла автору литературную известность.

В течение последующих десяти лет Златовратский напечатал в этом передовом демократическом журнале все свои самые значительные крупные произведения – повесть «Золотые сердца» (1877), роман «Устой»

(1878–1883), «Деревенский Авраам», (1878), «Очерки деревенской общины (Деревенские будни). Из дневника наблюдателя» (1879), «Кабан» (1880), «Очерки деревенского настроения. Современное обозрение» (1881), «Красный куст» (1881).

О роли журнала в его писательской судьбе Златовратский писал Салтыкову-Щедрину в 1882 году: «Вы сами знаете, что даже то немногое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции „Отечественных записок“. Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима...» (Литературное наследство. М., 1934. Т. 13–14. С. 366).

В творчестве писателя-народника Салтыков-Щедрин высоко ценил демократизм, любовь к трудовому крестьянству, реализм в воспроизведении пореформенной действительности, особенно те произведения, в которых заключена правда о «колупаевской революции», отдававшей «освобожденного» мужика «на поток и разорение» капиталистическому хищничеству. Очерк «Красный куст. (Из истории межобщинных отношений)» он

назвал «отличной вещью». Резко критиковал народнические иллюзии, веру в общинные «устои».

Конец 70-х – начало 80-х гг. – период высокой творческой и общественной активности Н. Н. Златовратского. Он становится одним из самых популярных писателей передовой литературы своего времени. Сотрудничает в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», «Русское богатство», «Устой», «Слово», в «Неделе», «Русских ведомостях» и др. Участвовал в создании и был избран редактором артельного народнического журнала «Русское богатство» (1880). В эти годы созданы лучшие реалистические рассказы о деревенских жителях, хранителях нравственных общинных традиций, – «Авраам», «Деревенский король Лир», «Горе старого Кабана» и др.

Программным произведением в творчестве Н. Н. Златовратского и в народнической беллетристике стал роман «Устой. История одной деревни». Первоначально тема была воплощена в драме «Устой», которую автор назвал «опытом народной комедии». (Не опубликована, сохранилась в рукописи.)

В романе, провозглашенном народнической критикой «величавой эпопеей борьбы старой и новой деревни» (П. Сакулин), наиболее убедительно сказались противоречия идеалов и действительности в творческих исканиях Златовратского. «Старые народники, – писал Плеханов о Златовратском и Г. Успенском, – бесстрашно описывали то, что совершалось перед ними; они не боялись *истины*... им даже и в голову не приходило, что истина противоречит их „идеалам“» (Плеханов Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 9. С. 164).

А. М. Горький, не принимая «слащавую романтику» Златовратского, называл «Устои» в числе замечательных произведений русской реалистической литературы, отразивших существенные черты своего времени, «волнения эпохи».

Тема подвига, горестных судеб участников народнического движения, споры о путях развития России и месте интеллигенции в развернувшейся борьбе, стремление разночинного интеллигента к духовному единству с народом – всегда волновали писателя. С особой силой они зазвучали в повести «Золотые

сердца», повестях и рассказах 80-х гг. – «Ски-талец», (1881–1884), «Старый грешник» (1881), «Боярская дочь» (1883), «Триумф художника» (1884), «Надо торопиться» (1885), «Мои видения» (1885). «Гетман» (1888), в былинах «Безумец» (1887).

В 1883 году закончился петербургский период жизни и творчества Златовратского, писатель до конца жизни обосновался в Москве.

В октябре 1883 года он знакомится с Л. Н. Толстым. В 1883–1891 годах, в пору, когда Златовратский переживает тяжелый духовный кризис в связи с крахом народнических иллюзий, нарастающей реакцией, писатели неоднократно встречались, переписывались, несмотря на разные взгляды на многие проблемы времени.

В письме к Златовратскому от 20 (?) мая 1886 года Толстой одобрительно отозвался о его рассказе «Искра божия» (1886), приглашает писателя сотрудничать в «Посреднике». В издательстве «Посредник» несколькими изданиями выходили рассказы Златовратского «Искра божия», «Белый старичок», «Деревенский король Лир» (под названием «Деревен-

ский король»),

В 1908 году в связи с 80-летием Толстого Златовратский выступил с воспоминаниями о нем («Два слова»).

Толстому посвящен рассказ «Мои видения», статья «Великие заветы» о значении великого писателя для русской литературы.

В 80-90-е гг. в Москве выходят – трижды при жизни автора – собрания сочинений Н. Н. Златовратского: Сочинения. Ч. 1–3, М., 1884–1889; Собрание сочинений: В 2-х т. М., 1891; Сочинения: В 3-х т. М., 1897.

Последнее издание (Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1912–1913. Т. 1–8) автор сам редактировал, готовил к печати, но вышло оно посмертно.

В 1884 году произведения Златовратского, широко издававшиеся и имевшие читательский успех, были запрещены к обращению в публичных и народных библиотеках. Запрет был снят лишь через двадцать пять лет.

Революцию 1905 года Златовратский встретил с большим подъемом. В статье «Три легенды» писатель-народник приветствовал бойцов пролетариата, с их приходом ждал

«воплощения царства божия на земле, создаваемого великим творчеством духа человеческой солидарности во имя братства, свободы и справедливости!..» (фрагменты включены в статью «Народничество Н. Н. Златовратского» П. Сакулина – Голос минувшего. 1913. № 1. С. 132).

Теме рабочего класса, труду кустарей, ремесленников Златовратский посвятил в 80-90-е гг. очерк «Город рабочих» (1885), рассказ «Мечтатели» (1893). По воспоминаниям Н. Д. Телешова, «старик Златовратский любил приютить у себя талантливую молодежь из народа, из рабочих...». Многие «были обязаны ему как своим развитием, так и в дальнейшем своим участием в литературных изданиях» (Телешов Н. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1980. С. 107).

В 1900-е годы Златовратский участвует в собраниях демократической русской интеллигенции «Среды», сотрудничает в журналах «Детское чтение», «Вестник воспитания», составляя обзоры, пишет критические заметки и статьи о новых книгах и журналах, занимается библиографической работой в энцикло-

педиях и словарях (обычно под псевдонимами).

Литературно-критические статьи разных лет, рецензии, обзоры не включались ни в одно из четырех изданий собрания сочинений Н. Н. Златовратского, не переиздавались и в наши дни.

Несомненный интерес представляют воспоминания Златовратского «Детские и юные годы», опубликованные в 1908–1910 годах (отдельное издание: «Как это было. Очерки и воспоминания из эпохи 60-х годов. Рассказы о детях освобождения. Детские и юные годы». М., 1911); литературные воспоминания 1895–1897 и 1910-го гг.

В 1909 году Н. Н. Златовратский был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

Писатель умер 10 (23) декабря 1911 года в Москве.

В советский период произведения Н. Н. Златовратского переиздавались отдельными изданиями и в сборниках. Роман «Устой» (1928, 1935, 1947, 1951); «Избранные произведения» («Крестьяне-присяжные», «Устой», «Зо-

лотые сердца»). М., 1947; «Воспоминания». М., 1956. Рассказы «Авраам» (1919, 1926), «Надо то-ропиться» (1919, 1955, 1961), «Сироты 305-й версты» (1955, 1961), «Рассказы» (Пг., 1919), очерк «Город рабочих» (1956), «Деревенский король Лир» (1957). Опубликована переписка Н. Н. Златовратского с Л. Н. Толстым, М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Золотые сердца

Впервые – в журналах «Отечественные записки». 1877. № 4, 5, 8, 12, и «Слово». 1878. № 6. Отдельным изданием – Златовратский Н. Золотые сердца (Листки из загубленной повести). Спб., 1879. Включалась в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1891 г. (т. 2), 1897 г. (т. 3), 1912–1913 гг. (т. 5).

В советский период вошла в книгу: Златовратский Н. Н. Избранные произведения. М.: ОГИЗ, 1947. Текст печатается по этому изданию.

Примечания

Перелог – оставленный без обработки и заросший участок земли, бывший прежде под пашней.

[^^^]

2

Мязга, мезга – мягкий внутренний слой коры дерева.

[^^^]

3

Чуйка – длинный, до колен, суконный кафтан.

[^^^]

Юрьев день – в России XV–XVI вв. время перехода крестьян от одного феодала к другому. Отменено Соборным уложением 1649 года, которое запрещало всякие переходы и окончательно закрепляло крестьян за помещиками.

[^^^]

Два Аякса... – Аяксы; в «Илиаде» два греческих героя, неразлучных друга, сражавшихся под Троей. Перен. – «два Аякса»: неразлучные друзья.

[^^^]

Речь... шла «о событиях дня», которыми были восстание славян. – Имеются в виду освободительные войны 1876–1878 годов, в Сербии и Черногории против Турции. В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну, которая стала частью русско-турецкой войны 1877–1878 годов, способствовавшей освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

[^^^]

...в темном кубовом платье... – кубовая краска, синяя растительная краска из растения куб, индиго.

[^^^]

...в барском пальмерстоне... – пальмерстон – длинное пальто особого покроя (по фамилии английского дипломата Пальмерстона (1784–1865), носившего такое пальто).

[^^^]

...из кантонистов... – кантонистами в России назывались солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

[^^^]

Четы-Минеи («чтения ежемесячные»), сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.

[^^^]

Инок – монах, отшельник.

[^^^]

Власяница – грубая одежда аскета.

[^^^]

Вретище – рядно, дерюга, самая грубая одежда из этой ткани.

[^^^]

Подог, подожок, падог – палка для ходьбы.

[^^^]

Дягиль – высокое травянистое растение с зеленовато-белыми цветками, собранными в зонтики.

[^^^]

Роспуски – крестьянская длинная повозка без кузова для перевозки тяжестей.

[^^^]

Старшина – должностное лицо крестьянского самоуправления.

[^^^]

Шлык, башлык – шапка с длинными ушами.

[^^^]

Шоры – здесь: конская упряжь без хомута.

[^^^]

...роман *Элиота*... – Джордж Элиот (псевд.; наст. имя – Мэри Анн Эванс) (1819–1880), английская писательница, автор романов «Адам Вид» (1859), «Мельница на Флоссе», (1860), «Сайлес Марнер» (1861).

[^^^]

...с пахвей сбившийся мужичок... – сбиться с пахвей, с пахви, с пахвов – наделать глупостей.

[^^^]

Идемте, идемте, идемте! (*франц.*).

[^^^]

Дополнение (*франц.*).

[^^^]

Харон – в греч. мифологии перевозчик умерших через реки подземного царства до врат Аида.

[^^^]

Поярковый, поярчатый – сделанный, сотканный, свалянный из поярка, шерсти от первой стрижки ягненка.

[^^^]

Иначе говоря (*франц.*).

[^^^]

Шевренька – корзинка, плетенка.

[^^^]

Все мне принадлежащее ношу с собой (*лат.*).

[^^^]

Вильгельм фон Каульбах (1805–1874), немецкий живописец и рисовальщик.

[^^^]

Треба – жертвоприношение; богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих (крестины, венчание, панихида и пр.).

[^^^]

...нанковое полукафтанье... – из нанки, бумажной ткани.

[^^^]

Семо и овамо (церк.) – туда и сюда.

[^^^]

О мертвых говорят или хорошо, или ничего
(лат.).

[^^^]

К праотцам (*лат.*).

[^^^]

Послушник – лицо, готовящееся к пострижению в монахи; воспитанник в монастыре.

[^^^]

Конец (*лат.*).

[^^^]

Труп (*лат.*).

[^^^]

Следовательно (лат.).

[^^^]

Очеса, очи – глаза.

[^^^]

...в... *изгребной рубахе*... – из грубого холста,
вытканного из оческов, изгребей.

[^^^]